Александр
Яблонский

АБРАША

Александр Яблонский

Абраша

«Водолей»

2011

Яблонский А. П.

Абраша / А. П. Яблонский — «Водолей», 2011

Роман Александра Яблонского имеет свою традицию, редкую и особенную даже для русской литературы – традицию душевного раздумья. Он историчен – поскольку в нем оживает русская история; полифоничен – поскольку сплетает эпохи, и судьбы, и даже временные особенности русского языка; по-своему детективен. Но, главное: он – бесконечно прекрасен.В эпоху, подобную нашей, единственной действенной силой, способной противостоять социальному, а стало быть, общему злу становится душа человека, ее волевое начало. Книга А. Яблонского – повествование о ее незаметном, но безупречно действенном подвиге.

© Яблонский А. П., 2011
© Водолей, 2011

Содержание

1. 12
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Александр Яблонский
Абраша

Ире – моей жене и другу посвящается

Анекдот.
Просто анекдот.
Никакого отношения к эпиграфу не имеет.
И к повести, Вам предлагаемой, никакого отношения не имеет.
Ни к чему не имеет.
Просто анекдот.
Анекдот:

Сидят Ванюша с Абрашей. Водку квасят. На закусь два огурца: большой и маленький. Абраша опрокинул стакан, взял большой огурец, хрумкает, рассолом прыскает, жмурится. Ванюша и говорит:

– Вот за это, Абраш, вас – евреёв, и не любят.
– За что «за это»?
– За то, что большой огурец взял.
– А ты бы какой взял?
– Я бы взял маленький.
– Ну, так и бери.

Запотевшее давно не мытое оконце под потолком смутно цедило божий свет, и было неясно: день ушел иль это вовсе не день, а только утро – мерзло мартовское недоброе тягучее утро. Сонные тени, гоняемые всполохами жирных оплывающих свечей, стоявших на хлипком столике, и отсыревших лучин, закрепленных в светце, вбитом заостренным концом в чурбак на замызганном, затоптанном полу, не замечая чередования дня и ночи, шныряли по облезлым влажным стенам сводчатого каземата, вспучившаяся, частично обвалившаяся штукатурка которого обнажала крепкую веками провяленную кирпичную вязь. Потрескивающие, обильно чадящие гарью настенные светильники бросали недобрые блики на низкий закопченный потолок. Вяло тлеющий огарок, плавающий в миске с тухлой водой, зловеще шипел и подмигивал. Было душно, зябко. Жаровня с холмиком обманчиво игривых голубоватых углей согревала лишь дальний темный угол.

Андрон давно перестал различать время суток, оно подрагивало для него подтаявшим студнем, без соли, без хрена, без вкуса, оно растворило его в себе, и он знал, что из его клейкой массы ему не вырваться, не выскользнуть, не выпростаться, и оно – его время – скоротечно, и осталось ему отсчитывать плеточные удары скрипучего маятника совсем немного: всем существом Андрон чувствовал, что пуст он, как летний полый жук, беззвучно несущий в полете свою оболочку уже по инерции, по привычке… потерял он вкус ко всем радостям своей молодой жизни: даже к сладкому делу охладел. Третьего дня Настюха прибежала, жалась к нему, похохатывала, бесстыдно рукой промеж ног своих водила, приговаривая, «ну давай, давай, время мало, скоро барыня кликать будеть», а он – детина двенадцати вершков – лишь бормотал: «не могу, прости, дай вздохнуть маленько, прости…» – ничего не шелохнулось. Государева служба все соки выпила. Посему удовольствие имел Андрон одно, когда лечил себя, выпивая полную рюмку березовой водки, захрустывая ее соленым огурцом или жменей квашеной капусты, на тощее сердце – с утра, а точнее – спросонья, так как утро для него давно

смешалось с вечером. Да и то, все меньше радовался он запотевшей чарке с живительной влагой «на бруньках»…

Однако давеча по случаю окончания мясопустной недели он пил много и тяжело – почерному, а посему нутренность его горела и требовала немедля ледяного кваса. Он хотел было кликнуть Прошку-малолетку, своего помощника – смышленого, всегда улыбчивого, добродушного белокурого паренька, но, оглядевшись – Андрей Иванович еще не прибыли, секретарь, видимо, тоже опохмелять себя поковылял, а подьячий подремывал перед напряженным бдением – Дело предстояло серьезное, коль скоро сам Начальник Канцелярии интерес проявил, – оглядевшись, решил сходить в комнату дьяков, где стояла бадья с квасом во льду.

Пил он, не отрываясь, большими глотками, захлебываясь, орошая свою пропахшую дымком бороденку, казалось, целую вечность. Самым чудным был первый миг, когда студеная лава рухнула в раскаленную бездну желудка, и неожиданная прохлада радостно вспорхнула ко всем клеточкам его большого рыхлого, сразу отяжелевшего тела. Отдышавшись, Андрон зачерпнул еще один ковш и пил уже медленно, смакуя вкус перебродившего ржаного хлеба, хрена, меда. Уходя из дьяковской, он захватил с собой недопитый ковш…

Только войдя в свой каземат, наткнувшись на ударившую в нос устоявшуюся годами смесь запахов крови, горелого мяса, пота, мочи, свиной кожи, влажного дерева, свечного воска и дымка, Андрон понял, в изумлении, что глоток кваса он несет не себе вдогонку, а капитан – поручику, висевшему на дыбе уже, почитай, минут 45. «Квасу хошь?» Капитан исподлобья глянул, но не зло, не с болью, а с удивлением, недоверием, радостью, с теми чувствами, с которыми встречают солнечное утро после долгого страшного сна, глянул – и вдруг чуть улыбнулся потрескавшимися губами. Андрон приподнял за волосы его голову и поднес ко рту ковш. Подвешенный больше пролил, но пара глотков ему все же досталась. Он опять чуть улыбнулся и потянулся к Андрону. – Так тянутся дети к большому теплому телу… – «Нельзя, хватит, а то плохо будет… да и загадишься опосля…». Андрон отпустил ремень, блок под потолком натруженно заскрипел, и капитан коснулся босыми ногами пола, повис на руках обхватившего его под мышками ката, прильнул к нему, как безмятежно спящий ребенок. Андрон освободил шерстяной хомут – хорошая придумка этот хомут, без него веревка врезалась бы в кожу до кости, особливо, ежели на виске тяжелый болярин или купец парился – высвободил вывернутые руки ответчика, быстрыми ловкими круговыми движениями локтей вправил плечевые суставы, ощупал – разрыва связок, кажись, не было, и усадил пытаемого на дубовую лавку. Тот опять чуть заметно улыбнулся, хрипло вздохнул полной грудью и с булькающим стоном выдохнул.

И не было ни в улыбке несчастного, ни в доверчивом прикосновении измученного тела заискивающей мольбы, невысказанной просьбы о пощаде, с которыми Андрон сталкивался ежедневно. Что, казалось бы, стоило не вытирать язык кнута после каждого удара и не менять его после 10–12 ударов: даже все видящий Ушаков мог и не заметить – намокший в крови язык – толстый вываренный в молоке и высушенный на солнце кусок свиной или бычьей кожи, – смоченный кровью, терял свою лютую твердость. Что стоило, к примеру, ограничить силу удара четырехаршинного кнута, не придавая ему энергию опытной руки, тем самым смягчая страдания подвешенного, или, наоборот, сместить направление удара – положить кнут вдоль хребта – и навсегда прекратить мучения… И молили его, и деньги большие предлагали, и дамы холеные в платьях заморских в ногах валялись – никогда Андрон не менял устоявшегося своего приема: отступал на шаг, а затем как бы в прыжке – правая нога выпадом вперед – наносил удар, оставляя рану глубиной с палец, никогда не ударяя по одному месту, а располагая полосы ровными рядами от плеч до крестца. И не потому, что безжалостен, а потому, что Мастером был Андрон, таких мало уже осталось.

Не помнил он случая за двенадцать лет службы, чтобы жалился над ответчиками: ни при графе Петре Андреевиче Толстом – это в тайной канцелярии, а затем в преображенском при-

казе, ни в Канцелярии тайных Розыскных дел уже при Андрее Ивановиче Ушакове – храни его Господь, благодетеля. Пару годков назад уж как работали с Головиным Василием Дмитриевичем – и «три вечерни», чин по чину, соблюли, и «язык» кнута поначалу плашмя закрепили, а затем острием, так, что он – Андрон – почти всю кожу со спины горемычного снял, аж ребра его заголились, а потом угольки с пылом к открытым ранам прикладывали и, на сладкое, раскаленными иглами под ногтями прочистили. И кричал нечеловеческим голосом Димитрич, аки боров, заживо освежеванный, и обделал весь застенок, и молил пощадить, но не дрогнули у Андрона ни сердце, ни рука. Ежели дрогнули бы, то какой тогда он работник. Иль когда в самом начале своей службы Ваську Лося прекрепко пытали – 10 встрясок дали – мало, кто и 5-ти выдерживал – и 100 ударов кнутом, а Мастера знали, что один удар кнута снимет мышцы с костей скорее, чем 10 палочных ударов, и трижды на огонь поднимали – с четвертого огня понес повинную Васька – ничего, выдержал Андрон, и не потому, что Андрей Иванович пытливо поглядывал, не даст ли слабину молодой, а по своему долгу и тогдашнему рвению к службе – взялся за гуж… правда, один раз, когда жонку Марфу Долговую после десятикратной дыбы и жжения огнем закоптили в конец до смерти, когда запах горелого мяса забил ноздри, вот тогда у Андрона помутнение в голове вышло – закачался, чуть не упал. Слава Богу, Ушакова тогда не было, к Императрице был вызван по интимному делу. Так, ничего – дали чарку, полную можжевеловой, и – очухался. Больше такого не бывало. А вот нынче как-то сердце болезненно сдавило, как только этого капитан-поручика стали раскладывать. Видно, стареть Андрон стал, обмяк духом-то.

…Привезли этого мало́го из Синодальной Канцелярии, где он год просидел, и неясно из «Допросных пунктов» было, порченый ли капитан, аль свеженькой. Тогда Андрон кинул Прошке: «раскладывай». Ответчик лицом не изменился, испуганно, как другие, не закудахтал, не заголосил – глаз Андрона на нем и остановился. Прошка, радостно потряхивая золотыми кудрями, сдернул рубаху и, толкнув с недетской силой, разложил привезенного лицом вниз на пол. Андрон с полминуты продержал ладони по кисть в горячей воде, а потом быстрыми ласкающими движениями разгоряченных мокрых рук провел по спине капитана-поручика – кожа была белая нежная, нетронутая: ежели человек бывал на правеже, на спине обязательно выступали красные полосы. «Свеженький» – радостно определил Прошка-малолетка… С таким работать было интереснее: и проще – непытанные острее боли сочувствие давали, кричали истошнее, *подлинную* правду рекли без *длинника*, и труднее – не знали, к примеру, что вторая тряска вдвое больнее первой, а третью – мало кто вынесет, и что есть спицы, а ведь страшнее пытки не придумали, посему храбрились, гоголем держались… не обжегшись на молоке, на воду не дули…

Полковник лейб-гвардии Семеновского полка и генерал-адъютант Андрей Иванович Ушаков прибыли через час с четвертью. По тому, что шаги Сенатора гулко раздавались по пустынному коридору, Андрон определил, что, скорее всего, раннее утро. Несмотря на свои 68 лет, Начальник Канцелярии имел четкий выверенный строевой шаг, и Андрон безошибочно определял эту печатающую поступь из тысячи других.

Ушаков, войдя в Главный Корпус Канцелярии – прочное кирпичное здание, с черепичной крышей и маленькими оконцами, высоко над землей расположенными, прибывал еще в том куртуазном состоянии духа, коим славился в свете Санкт-Санкт-Петербурга и коим когда-то привлек внимание самого Петра, возведшего его в 14-м году в звание тайного фискала. Вернее, привлек внимание его величества, затем Императрицы Катерины, а ныне августейшей племянницы Петра он не столько изысканной галантностью своей, а именно сочетанием оной с тем животным безотчетным ужасом, внушаемым им любому русскому, каждому подданному Империи, число коих достигало почти 11 миллионов, за исключением, пожалуй, Матушки Государыни да Божией Милостью его Светлости Эрнеста-Иоганна Герцога Курляндии и Семигалии. Впрочем, последний русским не был.

За прошедшие десятилетия стал Андрей Иванович как бы частью петропавловской крепости, каждое Божье утро, в любую погоду прибывал он в свое присутствие и, ежели не был вызван ко Двору, проводил весь день, а порой и несколько суток подряд, творя свое непростое дело, блюдя закон и государства интерес. Завидев его, солдат у васильевских иль Невских ворот врастал в стену, случайный прохожий замирал на месте, бабы – дуры, судачившие напротив магазейнов, испуганно крестились, а напрасно: не был Начальник Канцелярии по натуре своей злым человеком, не был мучителем изуверским – работник он был хороший, за то и ценили его, посему и пронеслись над его головой все тучи, а бывало, что они ох как низко нависали, особенно при Петре Алексеевиче втором, – пронеслись они, тучи эти, ибо без его ока всевидящего, без руки его немилосердной, без чистого сердца престолу не обойтись. Не был злодеем Сенатор, лишь ярился несказанно, когда называли его *катом заплечным*…

Андрей Иванович был доволен прошедшими сутками. Удалось хорошо закончить две тончайшие конфузии. Одна, самого деликатного свойства, заключалась в том, что Матушка Государыня, как и положено Радетельнице своих чад, желая устроить счастие каждого своего подданного самым наилучшим образом, отписала письмо от 7 марта сего, 1738 года своему любимому конфиденту в Москве – Генерал-аншефу обер-Гофмейстеру, Главнокомандующему Москвы, графу Семену Андреевичу Салтыкову, чтобы тот отыскал жену воеводы Кологривова и, призвав к себе, объявил о намерении ея величества отдать дочь вышеназванного воеводы за гоф-фурьера Димитрия Симонова, который при Дворе ея величества служит, и понеже он – Симонов – человек добрый, ея величество его милостию Своей не оставит. Не прошло и осьми дней, как курьер доставил ответ из первопрестольной и приватное письмо Ушакову. Номинально Ушаков мог считаться начальником своему сотоварищу, ведавшему Московским отделением Канцелярии, но в силу прямого и близкого родства с Государыней – чрез Матушку Императрицы Прасковью Федоровну Салтыкову – Семен Андреевич никого, кроме Анны Иоанновны своим начальником считать не мог – только ей он подчинялся и только с ней имел доверительную переписку. Однако… однако наживать даже скрытого недоброжелателя в лице Андрея Ивановича было неблагоразумно и опасно. Тонкая игра нужна была! посему и сопроводил он ответ Императрице частным посланием своему «Благодетелю и Наставнику». В этом послании он просил многоопытнейшего, мудрого и учтивейшего Андрея Ивановича так обставить дело, чтобы, не приведи Господь, не разгневать Матушку-Государыню, не расстроить ея величество и обратить все происшествие в шутку. Оказия же оказалась из ряда вон выходящей и непустяшной, государственного значения. Кологривая жена ответствовала, что с радостию своей и без всякого отрицания готова исполнить высочайшую волю – отдать свою дочь за гоф-фурьера, – и августейшие руки будет целовать с благодарностью, но дочери ее – Глафире – еще не исполнилось 12-ти лет… Никогда и никто не отказывал высочайшей свахе: все подданные знали, понеже ея величество мудростью и мужеством своим не себе самой, но отечеству своему живет, то и долг каждого радение Государыни выполнять беспрекословно. А тут… такого афронта, как с воеводской дочерью еще не было. И разгневать Матушку-Императрицу мог не столько сам отказ, хотя и это тоже, но главным образом: очень не любила Государыня, когда кто-либо указывал на ее ошибку или незнание, кто-то уличал ее в неведении дел российских, даже в такой деликатной материи, как возраст малолетней подданной. Дела… Но на то и существует в Государстве Российском Андрей Иванович Ушаков, чтобы все сомнительные смущения, конфузы и угрозы пресекать. Не только по первому пункту «Слова и дела» – «ежели кто за кем знает умышление на его Государево здоровье и честь», но и по невинным проказам подвыпившего шута Балакирева, или болтовне базарных торговок Татьяны Николаевой и Акулины Ивановой (уф, знатно пытаны были бабы) – ко всем недосмотрам и непорядкам имел Сенатор рвение и верность долгу. Вот и нынче он прекрасно устроил дело: подговорил заранее д'акосту – португальского жида и «самоедского короля» – сыграть пиеску; шут свое дело знал, не зря его еще Петр Алексеевич жаловал – так он с блаженной приживалкой Анны – «Девушкой-Дво-

рянкой» – такой балет устроил – зело препохабный, честно говоря, мысленно определил Ушаков, – что Государыня от хохота за живот держалась и тут же тысячу рублей Яну подарила и Девушке-Дворянке обещалась новый сарафан к именинам поднести – не забудет, у Матушки ум цепкий. Пронесло! посмеялись, как жид Девку за волосья таскал, сильничал понарошку и слова из писания по-иностранному лепетал, и забыли про одиннадцатилетнюю невесту. Ну, а вторая конфузия еще проще разрешилась. Впрочем, Бог с ней, с конфузией. Пора и делом заняться. Мясистая нижняя губа плотно подперла узенькую короткую верхнюю, и последние остатки лукавой куртуазности покинули одутловатое лицо Начальника Канцелярии.

Никто не сообщил о появлении Андрея Ивановича, но – чудны дела твои, Господи, – не успел он пройти от здания Старой тайной, которая еще при Петре-батюшке славилась, до Главной казармы Канцелярии, как спружинил во фрунт подьячий, моментально стерший с круглого румяного и безбородого лица накипь тоскливой лени и неотступной сонливости, проявился из дымки углового проема дохтур Блюментрост – немец или голландец – хрен разберет, – с длинным лиловым носом в красных прожилках и постоянным перегарным смрадом – Анна не переносила пьяных и винный дух, посему и не допускали к ней Блюментроста, хотя врачевал он знатно, – хромой секретарь, як черт из табакерки, выпрыгнул невесть откуда, – и все они, и Андрон вытянулись и застыли в бездыханном напряжении и тягостном ожидании. Даже капитан, никогда не видавший Ушакова, открыл глаза и попытался привстать. Ужас февральским вьюном просквозил каземат. Лишь Проша-малолеток, завидев Ушакова, радостно оскалился и бросился руку целовать благодетелю. Тот руку одернул, но улыбнулся чуть ласково, одними глазами.

Ушаков, кратко кивнув лишь Андрону – чай, не в благородном собрании со всеми раскланиваться, – подошел к столу, взял допросные листы и стал читать. Читал он тягуче медленно, тяжело, лицо хмурилось.

– С первой виски показано, что срамной уд свой ты ознобил по пути в Польшу… Проша, а ты на морозе ссал?

– Гы… – с готовностью заржал малолеток, обнажив крепкие сахарно белые блестящие зубы.

– И я, грешный, часто снежок орошаю, а ничего, не зазнобил. Руку, бывало, аль лицо… подлежит быть ознобленному какому иному члену, так полагаю. Ну, да ладно… Да и жинка твоя алена Иванова дочь показала…

Капитан недобро зыркнул и тут же погасил взгляд. Ушаков заметил, усмехнулся.

– … показала, что до польского вояжирования никакого повреждения на конце уда не видала, а вот потом…

Подьячий скрипел гусиным пером, не переставая.

– Батюшка, свет, Андрей Иванович, – голос у Прошки был тонкий, мальчишеский, озорной, – а Алену эту когда подвесим?

Ушаков плотнее сжал губы, взгляд заиндевел. Малец прав: доказчику – первый кнут, аль не затевает ли он на ответчика напрасно иль по какой злобе наговор. Правда, здесь можно было без розыска показания за истину принять – обрезанный уд, отсутствие нательного креста… Но все это хлипко. И помрачнел полковник лейб-гвардии Семеновского полка и генерал-адъютант оттого, что знал: причина милости к изветчице не в убедительности извета. Причина – в другом, и эта причина проста и обидна для него – лучшего российского мастера сыскных дел, ибо не способствует она чистоте розыска, не связана с незыблемыми законами его службы, не опирается на опыт его великих предшественников. Разве возможно было такое при Князе-кесаре Федоре Юрьевиче Ромодановском или графе Петре Андреевиче толстом! а сия причина шла через Шестакову – говорливую бабу, которую Матушка Государыня выписала из Москвы, вдобавок к любимым болтушам Авдотье Чернышевой и Юшковой. А эта Шестакова – срод-

ственница Аленина. Так дела делаются ныне! Но перечить Благодетельнице не будешь, смолчишь, и в пояс поклон отвесишь…

– Нет, не подвесим, – лишь ответил, и опять недобро блеснул глаз ответчика, и загрустил Прошка: дело понятное, молодое, охота бабу помучить, сладко ее тело белое полосовать, криками наслаждаться. Ничего, это пройдет. Андрей Иванович никакого удовольствия от работы своей не получал: работа она и есть работа, тянешь лямку, какое удовольствие…

Подьячий вопросительно уставился: что дальше писать.

– А ранее, любезнейший, ты показал, что тайный уд поврежден от бывшей французской болезни… И лекарь тот, что уд твой резал, стало быть, помер… – Ушаков искоса глянул на Андрона, и кат все без слов понял: поднял капитана и волоком – ноги того не слушались, как онемели, – подтащил к дыбе, завел руки назад и продел в шерстяной хомут.

Хруст, стон, смрадный дух. Единожды вывернутые, вправленные и опять вывернутые суставы не держали, связки разрывались, позвонки выпадали. Андрон привычно, буднично, размеренно, лишь глазные впадины почернели, и веки кроваво налились: выпад правой ногой вперед – удар – вопрос – протер язык; выпад – удар – вопрос – язык; выпад – удар – вопрос…

– А крест где?

– Потерял.

– Врешь!

– Потерял.

– Пошто новый не купил?

– Не успел…

Удар – вопрос – язык. С кнута налипшие шматы мяса прочь, и опять – удар – вопрос – язык, выпад – удар – вопрос… Капитан уже хрипел. Тонкая алая змейка из капитанова полуоткрытого рта на пол – шмыг. Проша аж рот раскрыл: смотрит, учится, улыбается. Ушаков вспомнил, что еще одно дельце чуть не позабыл: опять надо этого Адамку Педрилло с Францеской Араюшкой мирить. Вот не заладилось. Язык у этого Педро – Миро, как лезвие, но Анна в нем души не чает, всех своих шутов под Педрилкино подчинение определила, в обиду его не даст, но и за Арайку держится – как-никак первая на Руси опера им поставлена. Ушаков, правда, на этой «Силе любви и ненависти» чуть скулу не своротил, зеваючи, но Государыня зело довольны были. Ох, дела… Да тут еще этот капитан. (Андрон поменял кнут.) Кажись, сродственник Прокофия Богдановича и адмирала Синявина. Темное дело. Лучше его, конечно, за беспамятство списать. Не даром бумага к Делу пришпилена, что военная Коллегия сентенцию вынесла: означенного капитан-поручика из-за несовершенного в уме состояния ныне в воинскую службу употреблять не можно. Да и слуга его – Афонька – показал, что в барине помрачение ума вышло, и тетка его – Анна Евстафьевна сказывала, что в роду у них были в уме недужные… темное дело. Но Матушка-Государыня уперлась, не поспоришь…

– Пошто к стене лицом молишься?

– Ложный извет.

– Жинка твоя, Алена…

– Извет…

– Лепешки пресные пёк…

– Не-ее…

– Курицу русскую в пятницу по жидовскому правилу до захождения солнца резал и в субботу ел – показания имеются, говори…

Капитан уже не хрипел – выл. Удар – язык – удар – язык – удар – удар. Тело на виске обмякло. Блюментрост подошел, веки подвешенного приоткрыл, пощупал, поколдовал, покачал головой.

– Сымай. Кончай на сегодня. – Зря мучить Андрей Иванович не любил: без пользы для Дела – время тратить, да и человечика жаль…

– Подпишите, ваше Сиятельство?

Ушаков подписал. Теперь подписать должен секретарь, а за ним и ответчик. Руки капитана – как плети – не слушались, висели безвольно, но порядок есть порядок, – посему Андрон взял хладную кисть, и она вывела корявую подпись. Теперь – бумага справна. Без этого розыск – не розыск, пытка – не пытка. Даром труды потрачены.

– Давай. Завтра с утречка его высокопреподобие беседу с ним вести будут. Государыня так Свою высочайшую волю определила: поелику дело касаемо от веры православной отступничество, быть на расспросе Члену Святейшего Синода…

– Который изволит присутствовать – владыко Феофилакт? – хромоногий секретарь интерес проявил.

– Архимандрит Соловецкий – Захарий.

Это серьезно, понял Андрон. Работы будет много. Настоящий розыск с пристрастием начнется. В подтверждение его догадки Ушаков закончил:

– Так что, думаю, одной дискуссией его высокопреподобие не ограничится – не без потаенного сарказма молвил он, – встряска, и… спицы, пожалуй, приготовить.

– Спицы, спицы – радостно подхватил Прошка и, по-детски подпрыгнув, в счастливом изумлении потер руки – чисто ребенок. Ушаков этого не любил – даже поморщился, но Проша так умильно на него смотрел… Хороший мальчик, Андрону смена.

Андрей Иванович свернул «Допросные листы» и передал подьячему, тот их аккуратно разгладил и разложил титулом вверх: *«О совращении отставного капитан-поручика Александра Артемьева сына Возницына в иудейскую веру откупщиком Борохом Лейбовым»*.

На сегодня хватит. Много ещё конфузий, интимных баталий, сказываний *«Слова и Дела Государева»* предстояло решать сегодня. Посему, не прощаясь, исполнив поворот кругом – марш, покинул Главное здание Канцелярии её бессменный Начальник.

– Спицы, спицы – восторженно повторял Прошка-малолетка, влюбленно глядя вслед мерно чеканящему шаг Ушакову.

1.

Не заладилась осень в тот год. Поначалу стояла жара. Сучья, мох, прошлогодние шишки, вереск трещали под ногами, лесной песок вздымался пороховым дымком при каждом шаге, сушь пропитала лес, и грибами не пахло. Такого долгого и сухого бабьего лета не было много лет, во всяком случае, Абраша не помнил, да и старожилы, с которыми он судачил пару раз в неделю около лавки, которая завозила в поселок хлеб, консервы, спички, папиросы, лимонад и дешевую водку, припомнить не могли. Настя говорила, что «жарь умалишенная» была в осень 66-го года, но с ней не соглашались. Абраша в спор не вмешивался, потому что с лета к нему стала приходить Алена, ее младшая сестра.

Так что весь сентябрь о грибах нечего было и думать. Один лишь раз собрался он в лес, но даже сапог не надел, пошел в старых сношенных кедах. В низинах, где обычно он брал полную корзину благородных подосиновиков, груздей и волнушек, ничего кроме червивых горькух не было, так что засолить трехлитровую банку удалось с трудом. Зато в октябре полило.

Дождь шел неделю. Абраша возликовал. Он с радостным возбуждением наблюдал, как шествуют мимо его дома промокшие люди – в субботу автобусы ходили реже, желающих провести выходные на лоне природы, да еще и позабавить себя грибной охотой было много. Поэтому они набивались в старые скрипящие и кряхтящие жертвы ПАЗовской индустрии так, что проржавевшие двери-гармошки не закрывались, люди свешивались грязно-серыми гроздьями, придерживая руками шляпы, кепки, косынки. Раскрытые зонты, корзины, сумки, платки, края дождевиков, плащей и демисезонных пальто трепыхались под дождем, как крылья старой промокшей птицы, с трудом долетающей до своего гнезда. Около поселка основная масса пассажиров вываливалась и, увязая в грязи, суетливо поспешала к своим невзрачным дачным домикам, чтобы быстренько принести пару ведер воды из ближайшего колодца, раздеться, просушиться, растопить буржуйки, достать нехитрую закуску – сыроватые бутерброды с вареной колбасой, соленые огурцы, крутые яйца, холодную отварную картошку, откупорить бутыль вина или водки и, глубоко вздохнув, начать отдыхать в предвкушении завтрашнего солнечного утра, которое принесет им столь долгожданную встречу с крепкими красноголовыми красавцами, беззаботно и нахально выглядывающими из серо-голубого мягкого теплого мха. Абраша радовался не потому, что знал о беспочвенности мечтаний своих малознакомых соседей – дождь прольет еще как минимум пять дней, и не потому, что в любом случае им – этим милым, уставшим городским, то есть беспомощным в лесу людям, недоступны тайны его – Абраши – леса, с полянками, оврагами, опушками, где каждый куст был запримечен, облюбован, изучен. Абраша точно знал, где пойдут белые при сухой погоде, а где – при дождливой, на какой день после дождя могут быть рыжики – это чудо лесного царства, и когда следует их брать, чтобы не успели зачервиветь, где можно найти россыпь маленьких моховичков, желтенькими цыплятками взбегающих к сосновому бору, под какими зарослями увядающей травы прячутся грузди, на каких песчаных косогорах пригрелись ласковые, доверчивые маслята… Он жил с этими лесами, как живет порядочный пожилой муж со своей многолетней спутницей жизни, зная все ее капризы, предугадывая тайные желания, заранее обходя щекотливые темы в разговоре. Дачники же – соседи, забегали в лес, как будто наносили визит любовнице – страстно, но суетливо, украдкой поглядывая на часы – не опоздать бы домой к законной супруге. Но не это, повторюсь, радовало его. Его радовал дождь. Звуками возвышенной музыки были всхлипывающие стоны, издаваемые бурой грязевой массой при каждом погружении и каждом высвобождении резиновых сапог, бот, лыжных ботинок, модных, но бесполезных здесь – насквозь промокших кроссовок. Этот чавкающий ритм многоногой толпы, соединяясь с «Болеро» остинатного шума дождя, дробно обрабатывающего крышу маленького сруба,

доводил его до восторженного экстаза, до того катарсиса, который был так хорошо известен древним и напрочь забыт в сутолоке двадцатого века.

Но в тот год грибы «накрылись медным тазом».

Только два выражения из богатого набора новообразований советского периода нравились Абраше. Это – «накрыться медным тазом» и «пролететь, как фанера над Парижем». Смешные они. Фанера, летящая над Парижем, где Абраша никогда не был и быть не мог, веселила его, а медный таз привлекал блеском, воспоминанием о детстве, запахе остывающего малинового варенья и какой-то необъяснимой надежностью. В них не было пошлости, безграмотности и блатной «поэтики», которые так бесили его.

Наконец, к концу седьмого дня, под вечер просветлело, край неба, видный с высокого крыльца, зарозовел. Стихло. Природа притаилась и замерла. Птицы оживились, но не бесперебойным пением, а радостным ласточкиным стрекотанием, шуршащими молниеносными перелетами с ветки на ветку, хлопотливыми сборами в стайки. Абраша с вечера вынес на кухню заранее приготовленный набор: корзину, ведро, нож, флягу для воды, пару бутербродов с сыром, специальную кепку для грибного дела, поставил к двери резиновые сапоги. Пораньше поужинал и лег спать совершенно трезвый. Однако ночью – часа в три – внезапно проснулся, будто кто-то шепнул в ухо: «Вставай. “Медный таз” твоим грибам». Абраша часто просыпался последнее время, но только по определенной необходимости: обычно он быстро шлепал босиком в «уютный кабинет» и так же быстро, не открывая глаз, нырял в теплую кровать, чтобы не расплескать сон. Сей же ночью, проснувшись, он прильнул к окну и застыл. За окном мело, от стекол тянуло холодом, земля побелела. Зима.

Сон пропал. Жить стало не интересно. Весь год он ждал, – нет, не просто ждал, он вожделел тот миг, когда будет своей старой сучковатой палкой раздвигать вереск, приподнимать жухлые пучки травы, становиться на колени, чтобы аккуратно, бережно вынимать из земли крепкие семейки боровиков, с толстыми сахарными ножками и округлыми, еще не раскрывшимися матово-коричневыми шляпками, стройные молоденькие подберезовички, старательно подчеркивающие свою причастность к интеллигентному грибному обществу, или срезать сочные сахарно-белые грузди, уютные, с мохнатыми оборочками, как довоенные абажуры, волнушки, крепенькие маленькие сыроежки – этот лесной плебс не только не портил букет солений, но оживлял его свежими красками. Когда он выходил на полянку, усеянную грибами, или находил один заблудившийся гриб, он всегда здоровался, иногда вслух, иногда про себя: «Ну, привет, дружок, заждался», или: «Ну вот, я тебя ищу, ищу, а ты спрятался», или: «Здоро́во, соскучился без меня, я пришел», или «Я здесь, ваше высокоблагородие». Последнее приветствие относилось только к белым… Его неделя была расписана: один раз он шел в сырые низины за груздями, волнушками, рыжиками, другой день посвящал песчаным холмам, поросшим соснами, там были «ваши благородия», третий день он топал в дальний лес за молодежью – моховичками и маслятами, хотя маслята отошли в августе, но там еще попадались. И вот – конец мечтаньям. До следующего года. Хотя до следующего можно и не дожить.

Абраша засунул ноги в холодные валенки, накинул ватник и пошел на кухню. Водки осталось немного – всего полстакана. Он открыл банку сайры, отломил кусок черствого хлеба. Выпил. Закусил. Спать уже не мог. Поэтому не поленился, направился в спальню, оделся, затем вернулся на кухню, опять растопил еще не остывшую печь, поставил чайник, раскрыл читанную-перечитанную пожелтевшую и обтрепанную книгу – «Жизнь Иисуса Христа» Фаррара.

На другой день снег растаял, превратился в серую жижу. Приехала лавка. Абраша долго обсуждал ночное событие с немногими постоянными жителями этого заброшенного поселка. Все были обескуражены неожиданным для октября снегом, крушением грибных планов, карой Господней и очередным подорожанием продуктов в лавке. Абраша взял в долг пару поллитровок, несколько буханок хлеба, кило гречки, пачку макарон, полкило докторской колбасы, несколько банок «Бычков в томате», шпрот и сосисочного фарша – эту редкость, как и пиво

«Мартовское», завезли впервые. «Запью» – с облегчением подумал он. Однако запой не получился, потому что к ночи пришла Алена.

* * *

Николенька свое детство связывал, почему-то, с кружевами. Кружевными были края наволочек его подушек, занавески на окнах и балдахин над его кроваткой, манжеты его рубашечек, бабушкин чепчик, воротничок маминой кофты. Мир был кружевным. И очень светлым.

Значительно позже, вспоминая о детстве вместе со своими друзьями и родными, он слышал, что у них детство ассоциировалось с мраком зимнего утра, ненавистными позывными «Пионерской зорьки», невыносимо тяжелым процессом извлечения сонного тела из теплой уютной постели, очередью в туалет и к умывальнику на кухне, освещенной тусклым тюремным светом чуть желтеющей под потолком лампы, где уже с утра соседи жарили картошку, варили дурно пахнущий рыбьим жиром суп и о чем-то раздраженно спорили хриплыми сонными голосами. Для многих его близких детство – это обилие серых чужих понурых людей, не замечающих маленького человека, обреченно передвигающего ноги в тяжелой промокшей обуви по направлению к школе, встречающей его мертвенными огнями окон, дежурными – старшеклассниками с повязками на рукавах, злобно требующими показать сменную обувь и дневник, и невыносимо тягостными, усыпляющими первыми уроками – только к третьему уроку сознание начинало оживать, тело наполняться энергией, оптимизм и жажда жизни овладевали всем существом. Все это Николеньке было известно, но не фальшь пионерских песен, не обреченность мечтаний заболеть и не вставать декабрьским утром в семь тридцать утра, не серое месиво из талого снега, песка и соли, не глотаемые тайком слезы от несправедливости взрослого мира, школьных нравов и собственных поражений было отзвуками детства. Детство у Николеньки было наполнено светом: в памяти остались не зимние студеные дни, хотя их было с избытком, а весеннее солнце, слепившее майскими рассветами, не радостный и лживый оптимизм звонких голосов захудалых артистов – «мальчиков и девочек», рапортовавших о тоннах сданного металлолома, а ласковый неповторимый голос «дяди Литвинова», звучащий в 10 часов утра: «Слушай, дружок, я расскажу тебе сказку»…

Папа уходил на работу в восемь пятнадцать утра, так как первая лекция у него начиналась в девять утра, а ехать до института на троллейбусе без пересадок ему надо было минут пятнадцать – двадцать. Сразу же после его ухода Николенька нырял в родительскую кровать, прижимался к маме, и они еще немного спали. Потом мама вставала, а Николенька лежал и ждал утреннюю сказку. По ее окончании он начинал свой трудовой день – сам одевался – мама помогала ему только надеть чулочки и зашнуровать ботиночки, причесывался, убирал свою кроватку (после него мама всегда застилала заново), мылся. Кухня к тому времени затихала, тусклая лампочка не подчеркивала узоры паутины в углах, контуры пыльных материков на стенах, разноцветье протечек на потолке и несмываемую грязь пола. На ней было сумрачно, тихо, умиротворенно – взрослые давно ушли на работу или по магазинам, других же детей в квартире не было. Только общий счетчик потрескивал неутомимым сверчком. После завтрака он шел с мамой гулять.

С семи лет это блаженство было потеснено, но не вытеснено школьными буднями. Его дом, его семья, его огромный неповторимый и защищенный от мрачных предчувствий и тревог мир, умещавшийся в двадцатиметровой комнате, был его единственной реальностью. Только здесь он жил, жадно впитывая всё то, что исходило от его родителей, которые были и его друзьями, и учителями, и защитниками. Так продолжалось где-то до старших классов, то есть до того времени, когда центр его жизни стал постепенно перемещаться в сторону дружеской компании, с появившимися закадычными друзьями, бутылками дешевого портвейна, девочками, которые всё больше и больше привлекали и волновали его, первыми поцелуями, первыми

разочарованиями, изменами, раскаяниями и надеждами… Однако и тогда, и позже только его родители были сутью и счастием его жизни. Повзрослев, Николенька стал понимать, что в этом есть нечто противоестественное, во всяком случае, необычное, но ничего поделать с собой не мог, да и не хотел. Так, он не мыслил встретить Новый год вне дома, хотя во всех компаниях – и школьных, и, позже, студенческих, он всегда был долгожданным и желанным – всюду он становился центром общества… И дело было не только в том, что он не представлял, как его мама и папа останутся одни, без него в эту волшебную ночь или в другой радостный день, хотя и это определяло его решения. Он просто не мог уйти от них.

Когда Коке исполнилось лет двенадцать, он «заболел» Толстым. Тогда он знал одного Толстого, который «Война и мир». Сначала он читал только про войну. Читал неоднократно, так, что многие места, особенно про Аустерлиц и Бородино, знал почти наизусть. Затем его заинтересовала «любовь» – это было лет в пятнадцать. Потом… – но это было позже, и не сейчас об этом речь. Параллельно с «Войной и миром» он пытался читать и другие сочинения яснополянского графа, но «Анну Каренину» осилить не смог – дальше двух страниц дело не пошло. «Воскресение» и не начинал, а вот в «Хаджи Мурата» влюбился. Зачитав до дыр тонкую книжонку и переболев первой фазой «болезни», выражавшейся в необъяснимом влечении к этой повести, так же, как и к «Смерти Ивана Ильича», «болезни», которой он «страдал» всю жизнь, наткнулся Николенька на «Детство». То, что он совсем другой Николенька, было понятно: и фамилия у него другая, и никакого Карла Ивановича у него нет, и его мама – не *maman*, и не играет она Второй концерт Фильда, она вообще не играет на фортепиано, которого у них в помине нет, как нет и брата Володи – наш Николенька был единственным, – и на охоту он, в отличие от своего тезки, не ездит, не ездил, и никогда в жизни не поедет, и юродивый к ним не приходил – Кока даже точно не знал, что это такое, и вообще – он жил в большой коммунальной квартире и представить не мог, что всего одна семья может занимать целую «усадьбу» – еще одно не совсем понятное слово (дом у сада?), а его мама – иметь свою деревню: Хабаровку… Однако всё равно, читая толстовское «Детство», он чувствовал, что это – про него. И дело даже не в совпадении имени и его уменьшительно-ласкательного семейного варианта – хотя как-то подумалось ему: может, и не совпадение, может, и его родители когда-то очаровались миром Иртенева-младшего и бессознательно прозвали так же своего сына. Дело было в том, что покой, тепло, любовь, ласка и забота, царившие в семье давно ушедшей эпохи, давно исчезнувшей культуры, каким-то чудом возродились через столетие в его комнатке, в его мире, в его детском бытии. Старым шерстяным пледом они укутали, согрели его и, как оказалось, значительно позже предохранили от многих бед во взрослой непростой жизни.

Спал Николенька крепко. За все годы, пока он жил с мамой и папой, он мог вспомнить лишь три случая, когда внезапно, как от толчка, просыпался среди ночи. Первый раз он проснулся, видимо, от звонка в дверь. Ему было тогда лет пять. Первого звонка он не слышал, он успел лишь проснуться к тому моменту, когда папа вскочил с кровати и на цыпочках босиком метнулся к двери комнаты.

– Сань, тише. Это не к нам, – выдохнула – простонала мама, и было Николеньке не понятно, она просит или спрашивает.

Папа подошел к окну и приоткрыл занавеску.

– Не выглядывай, увидят, – мама уже не просила, но приказывала с отчаянием и страхом в голосе.

Папа сел на край кровати, как был голый – он всегда спал без всего и Колю приучил спать нагим при любой температуре, мама – в длинной ночной рубашке рядом с ним, и так сидели они долго и молча, одинаково сложив руки на коленях. Были слышны тяжелые шаги в коридоре, потом квартира затихла, и Николеньке даже показалось, что ему всё это приснилось. Правда, дядю Сему – «разведчика», веселого, говорливого, краснощекого, страдающего

одышкой и потерявшего ногу в немецком тылу соседа из крайней комнаты, что около умывальника, он больше никогда не видел.

Два других раза он проснулся от шепота. И оба раза ничего не понял, но разволновался, особенно в первый раз – он даже испугался, а пугался он редко, так как рос смелым мальчиком, но тогда он подумал, что сердце может выскочить из груди, так оно сильно колотилось. Было темно, и он ничего не видел. Но слышал.

– Сань, не надо.

– Ну, перестань.

– Сань, он услышит.

– Да он спит, как убитый.

– Ой, ну что ты делаешь.

– Возьми в руку. Вот так. Умница.

– Господи, ой…

– Тебе хорошо? Повернись. Вот так.

– О-о-ё…

Мама тихонько, в такт поскрипыванию кровати стонала, видимо, уткнувшись лицом в подушку, и Кока понимал, что папа маму обижает, делает что-то нехорошее, так как он – их единственный и любимый сын не должен это видеть. Он даже хотел вскочить и кинуться маму защищать, но что-то удержало его, и он услышал мамин шепот:

– Еще, еще.

– Прогнись. Вот так. Умница.

– Больше не могу. Я закричу.

– В подушку. В подушку. О… Какая ты сладкая. Подними ногу…

– Ну, давай, давай… В меня. Я так хочу.

Потом папа странно захрипел. Мама тихо вскрикнула. Николенька лежал в ужасе, прекрасно понимая, что пришел конец его счастливой семейной жизни, и завтра мама папу выгонит, потому что нельзя издеваться над человеком, тем более, ночью. Однако наутро – это было воскресенье – выходной день – никто никого не выгнал, наоборот, мама за завтраком улыбалась, глядя в чашку с чаем, и гладила папину руку, что случалось крайне редко, и папа был какой-то расслабленный, спокойный и добрый. Впрочем, он был всегда добрый, только нервный. Днем они пошли гулять в Таврический сад. Потом зашли в мороженицу, и Николенька получил «*пваздник*» – двести граммов мороженого с сиропом: два шарика черносмородинового, один шарик шоколадного и один – земляничного. Он долго думал, взять ли еще с орехами, но не решился – родители и так сильно потратились на него. Он этого не заслужил. На обратном пути в гастрономе «у Водников» купили двести граммов твердокопченой колбасы – он обожал ее и мог полчаса обсасывать тоненький ломтик, как леденец, сто граммов паюсной икры и бутылку вина с прекрасным названием «Мускатель». Такого пира не было давно.

Через несколько лет, знакомясь со своим телом, он вспомнил ту ночь, тот шепот.

Третий раз он проснулся, потому что у него болел живот. Он уже присел, чтобы направиться к горшку, но услышал свое имя и притаился – горшок мог и подождать.

– У Коки – ушки на макушке.

– Но он ничего не понимает.

– Не понимает, так запоминает и где-нибудь брякнет.

– Боже, так о чем мы говорим?

– Вот именно, – Боже! И зачем ты этого Сергия в дом водишь?

– Да ты что, Тата, спятила? Мне его от дома отваживать? Ты совсем от страха сдурела.

– Это – не страх, Сань. Это – наша жизнь.

Тут Кока сообразил, что речь идет о Сергее Александровиче, или «Батюшке», как звал его папа. Батюшка всегда приходил с подарком для него. Один раз дядя Сережа принес желез-

ный паровоз, каких Кока никогда не видел. «Трофейный, – сказал папин друг, – немецкий». В другой раз он подарил настоящую пожарную машину, с выдвигающейся лестницей в три пролета, фарами, открывающимися дверцами. Для себя дядя Сережа всегда имел в кармане чекушку. Папа водку не пил вообще, но для компании наливал себе рюмку вишневой наливки, которую мама делала на даче летом, или вина, оставшегося недопитым с прошедших праздников, чекушку же дядя Сережа «приговаривал» единолично.

Николенька плохо понимал, о чем они говорили и, чаще, спорили при каждой встрече. Но один раз навострил ушки, так как речь шла о козленке.

– Ну, это же бред! Почему я, к примеру, не могу завтракать бутербродом с колбасой, запивая его кофе с молоком.

– Да всё ты, Саня, можешь. Дело же не в тебе.

– Я понимаю. Непонятен сам запрет, нелепый сегодня, в двадцатом веке. Десятки миллионов потеряли, нацию замордовали, унизили, растоптали…

– А уничтожили?

– Нет.

– О! И уже четыре тысячелетия не могут. Где эти топтатели – все эти ассирийцы, вавилоняне, мудрые греки, которые древние, или непобедимые римляне, с Титами и Веспасианами, где эти две усатые гниды?

– Э-э. Вы что, мальчики, обалдели, ведь – непьющие!

– Тат, мы шепотом, да и второго уже закопали.

– Ненадолго. У нас без него не обойдутся. Откопают или нового соорудят.

– Ну, вот видишь, ты сама нарываешься на «без права переписки». Лучше сядь, Сань, налей ей рюмочку настойки.

– Хорошо, я согласен, Батюшка ты мой, они действительно взломали все границы, опрокинув и Шпенглера, и Тойнби, но при чем тут кофе с молоком?

Здесь внимание Николеньки от всех этих непонятных слов отключилось, и он стал думать о Сонечке, которая жила этажом выше, и была дочкой «богатых людей», как говорили соседки на кухне. Стоя в очереди к умывальнику, он слышал: «Так Гольданские каждый день семгу с мясом жрут!» – «Ну, а ваше какое дело, Ксения Ивановна?» – «А мы с вами, Галочка, с перловки да на постные щи, с перловки да на постные. Мясо можем позволить только на Седьмое ноября». – «Ну это не их вина». – «Да наворовали, суки». – «Где, у себя в институте?» – «Знаем мы ихние институты, книги всякие писать, они бы у станка постояли или горшки, как ты, милая, с говном за детьми повытаскивали». Сонечка пригласила его – Николеньку – на елку, и он очень боялся, что родители не пустят: они не любили, когда он ходил в гости, особенно к соседям, если же и отпускали, то всегда повторяли одно и тоже, как будто он маленький и не понимает: «Лишнего не болтай» или: «Знаешь, Кока, ты ротик на замочек и молчок», или: «Настоящего мужчину украшает что?»…

– … не варить козленка в молоке его матери?

– Ну, это, Сергей Александрович, еще первобытные племена знали и практиковали.

– Да. Но это было на уровне обычая, а Талмуд возвел это в ранг закона. Нельзя убивать младенца. То есть малыша, грудь матери сосущего, то есть мясо и молоко – несовместимо. Это не только отторжение варварства и дикости, это – тот нравственный императив, если хочешь, скрепивший нацию на протяжении четырех тысячелетий. Кстати, как ты знаешь, только Талмуд запретил вызывать преждевременные роды у животного, чтобы получить от недоношенного малыша нежнейшее мясо и тончайшую кожу для деликатеса.

– Какой ужас!

– Тата, всё в жизни есть ужас и радость, мрак и свет, и на всё воля Божья, на всё Его промысел.

– Вот слушаю я вас, Сергей Александрович, и в толк не возьму: вы в каком храме служите, в православном или в синагоге?

– Ни в каком, душечка. Уже ни в каком. Отслужил. А по поводу недоумений твоих скажу лишь: Господь – один и Истина – одна, и идем мы к Ним, спотыкаясь, падая и снова вставая на ноги наши грешные, разными путями, говоря на разных языках, ориентируясь по разным картам и навигациям, но всё одно, Они у нас – одни, других нет и не будет. И грех великий, коли будем продолжать мы грызню нашу по поводу разных маршрутов. Не это сказал Он. А сказано было: «Ни эллина, ни иудея; ни раба, ни свободного; ни скифа, ни варвара». И стараюсь я понять, в чем мы близки, и где наши маршруты совпадают, а не копить злобу и отчуждение. А кстати, какой праздник будет через неделю?

– Новый год, – хотел было закричать Николенька, но удержался.

– Новый год, – как-то неуверенно сказала мама.

– Обрезание Господне, – сказал папа.

– О! Наконец ты прав, Саня. И я не спорю с тобой. Посему, друг сердешный, давай по этому поводу выпьем.

– Батюшка ты мой, так закусывай, закусывай. Тат, положи ему винегретику.

– Ох, хорошо. Жаль, не пьешь ты, Сань. Так, если быть точным, то праздник сей будет четырнадцатого, по нашему календарю, да не в этом суть. А суть в том, что… Э, а малец-то наш, кажись, слушает.

Николенька усиленно загремел паровозом. Впрочем, разговор старших его действительно разочаровал – ничего интересного не было, напрягаться и слушать было нечего. Как из ваты доносился до него, не задевая сознание, этот спор, но каким-то чудным образом осел он в памяти, всплыв из тумана забытья через много лет.

– …Да, Сань, ты прав… обрезание… принял имя Иисус… «Не нарушить закон пришёл Я, но исполнить»… тише… он, кажется, спит… аж похрапывает… вступление в союз-завет Авраама и избранного народа с Богом…

Сладко спалось в ту ночь Николеньке.

* * *

Луч солнца полоснул по лицу и застрял на зеркальной дверце платяного шкафа. На стекле распахнувшегося от дуновения ветерка окна сидела бабочка. «Королева» – узнала Ира и окончательно проснулась. За дверью начала грохотать ведрами и кастрюлями баба Вера, и спать дольше не было никакой возможности. Можно было бы еще поваляться, но всё равно Машка уже проснулась, она всегда вставала ни свет ни заря и начинала канючить, да и Катя скоро начнет орать, как сумасшедшая: «Ирка, вставай, пошли купаться!» или «Ирка, вставай, жениха проспишь, пошли в магазин за хлебом!». Ира с удовольствием бы вскочила, но перед всеми дневными приключениями ее ждали ненавистное молоко и яичница с помидорами или колбасой. Она бы с удовольствием позавтракала бы чаем с вареньем, но баба Вера как заведенная твердила: «За что родители деньги огромадные плотют? – За то, чтобы ты воздухом дышала, молочко парное пила и яичками прямо из под курочки питалась, солнце ты мое ненаглядное!». Курочки Ире нравились, но было такое впечатление, что свои яйца куры вываливают из попки вместе с какашками. Ира была девочка брезгливая, поэтому на вкус вареное яйцо, да и в виде яичницы ей даже нравилось, но когда она представляла, как это яйцо появляется на свет, – бррр! А молоко она и вообще терпеть не могла. Еще запах парного молока прямо после дойки вместе с запахом свежего теплого хлеба, который привозила машина по вторникам и пятницам, ей нравился, но вот пить его она совершенно не могла. Впрочем, ей помогала Ксюша. Баба Вера, как правило, подавала завтрак – яичницу, большую кружку молока, два куска белой булки и прошлогоднее, засахарившееся варенье из крыжовника или смородины и

уходила дальше грохотать своими тазами. Ира глубоко погружала губы в белую ароматную и густую молочную массу. Ксюша уже поджидала под столом, она конспиративно хранила полное молчание, только терлась – не без намека – о ногу и ждала своего часа. Он наступал тут же, как баба Вера обозначала знакомыми звуками свое отсутствие в комнате. Ира росла умной девочкой, поэтому она не выливала всю чашку Ксюше, а оставляла с палец на донышке. Когда баба Вера входила, Ксюша, догадливо скрывшись под кроватью, довольно урчала и облизывалась, а Ира органично и естественно причитала: «опять эту гадость пришлось пить. Меня чуть не вырвало». – «Ничего, ничего, кровинушка, тебе в пользу и мне в радость. Остаточек можешь кошечке вылить, будет и ей праздничек, ишь, мурлычет, клянчит», – говорила она, бережно вытирая молоко с Ириных губ. «Какая артистка!» – каждый раз ликовала Ира. Бабу Веру она очень любила, пожалуй, больше родителей…

Родители приезжали на дачу, как правило, на субботу и воскресенье. Они привозили полные сетки продуктов, запах душного пыльного города, суету и неистребимое желание наладить по-своему дачный быт, активизировать воспитательную работу с детьми и организовать правильный досуг всех обитателей дома. Папа проверял, заготовлены ли дрова на неделю. Всегда оказывалось, что дров – предостаточно, так как баба Вера, зная его беспокойный нрав, по пятницам к вечеру пилила с дядей Колей – хозяином дома – эти дрова, затем колола и аккуратно их складывала. Однако полная поленница не охлаждала папин пыл, он долго засучивал рукава, плевал на ладони и начинал выполнять свой мужской долг. Минут через семь его звали попить чайку, проверить проводку на кухне или закрепить защелку на туалете – «зеленом домике». Он повторял, как заклинание: «Ну, нарасхват, ну, нарасхват, ничего, к вечеру закончу», и исчезал в заданном направлении. К вечеру оказывалось, что баба Вера тихонько зачистила место рубки дров, поставила на место топор, закрепила защелку, а проводка оставалась в том же состоянии – дотрагиваться до «ляктричества» она опасалась. Папа же давно играл в преферанс, судачил о последствиях Суэцкого кризиса и возможном обострении отношений с правительством Ги Молле: «он же ярый англофил, а нам крайне невыгодно это сближение…». Мама сначала пыталась проверить, как ее дети – Ира и младшая Машенька – продвигаются в овладении алфавитом и устным счетом, но затем решала заняться организацией домашнего детского театра, вокального ансамбля или кукольного представления. Соседская Катя до сих пор верила в эти планы, и каждый раз с энтузиазмом откликалась на энергичные призывы Ириной мамы собраться и обсудить перспективы очередного грандиозного проекта.

Где работал папа, Ира толком не знала. Зато она точно знала, что ее мама – певица. Она даже иногда выступала по радио. Правда, это бывало редко и очень рано – в половине седьмого или половине восьмого утра. Ира еще спала и о маминых выступлениях узнавала из уст самой мамы. Пару раз она слышала сама – это было во время детской передачи в десять утра. Мама, как правило, пела песни советских композиторов для детей. Особенно Ире запомнилась песня – или песни, очень похожие одна на другую – с красивым названием: «Музыка Старокадомского, стихи Агнии Барто». Ире очень нравилось слово «Агния». Мама часто уезжала на гастроли от какого-то «Бюро пропаганды». Что это такое и как это может быть, Ира не понимала. У них дома было бюро, за которым папа иногда делал какие-то расчеты после преферанса. Ире прикасаться к этому маленькому бегемотику из красного дерева не разрешали, потому что бюро было «работы Чиппендейла». Как этот, видимо, давно умерший Чиппендейл мог посылать маму на гастроли, оставалось долгие годы загадкой. Когда мама уезжала, исчезал куда-то и папа, и Ира с Машуней вместе с бабой Верой жили весело, дружно и уютно.

…Ира вскочила и, шлепая по чистому, выскобленному бабой Верой полу, прямо в одних трусах помчалась в «зеленый домик». Там можно было посидеть и помечтать о том, какой будет ее взрослая жизнь, за кого она выйдет замуж, как будет лечить больных кошек и собак или, может, всё же будет сниматься в кино, играя роли умных красивых девочек, какое счастливое время на даче и как она пойдет осенью в школу, в первый класс.

* * *

Иоанн свидетельствовал: «***Сказал им Пилат: возьмите Его вы и по закону вашему судите. И сказали ему Иудеи: нам не разрешено казнить никого***» (Ин. 18, 31). И далее: снова «***Говорит им Пилат: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины***» (Ин. 19, 6)… Свидетельство Иоанна дорого стоит, ибо он, как это ни звучит парадоксально, «более историк, нежели Лука» – это отмечал, кажется, еще Епископ Кассиан (Безобразов). Да и Ренан толковал об этом: для него историческая точность Иоанна Богослова превосходила синоптические Евангелия. Итак, «возлюбленный ученик» Иисуса подтверждает истину: казнить иудеи не могли. Во время господства римлян права Синедриона были ограничены; он не мог выносить смертные приговоры. Судить – могли и должны были: нарушившего закон Торы мог судить только Синедрион. Римляне вмешивались лишь в том случае, если речь шла о римском гражданине или дело затрагивало интересы Империи. Судить Синедрион мог, а казнить – нет. И приговаривать к смерти не могли, однако, если же в исключительном случае приговаривали к смерти, то через побиение камнями. Распять не могли, это точно – не иудейский вид казни, но побить камнями могли. Редко случалось, но случалось. В Мишне сказано, что Синедрион, приговаривающий к смерти через побиение камнями раз в семь лет, называется кровожадным, а рабби Элиазар бен Азариа поправлял – «раз в 70 лет». Иудеи, возможно, могли сами судить и даже – в редких исключениях – казнить еврея, не прибегая к помощи римского правосудия или к санкции Прокуратора, а точнее, Префекта, коим был Пилат. В «Деяниях» говорится, что люди Израилевы арестовывали апостолов и даже казнили одного проповедника без санкций Рима. Впрочем, для лжепророка могли сделать исключение. В любом случае, почему Иисуса осудил Синедрион, хотя приговорить его к смерти Синедрион не мог, а привести неправый приговор в исполнение просили римлян?! Нет ни логики, ни исторической правды. «…***Ответили ему Иудеи: у нас есть Закон, и по Закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим***» (Ин. 19, 7). При чем здесь Рим? Это – внутреннее дело Иудеев. Рим во все эти распри не вмешивался. Брезгливо отворачиваясь от темных верований Востока, он оставался выше чуждых ему коллизий детей Израилевых. И уж ни при какой погоде не стал бы выполнять требования первосвященников, потерявших к тому времени свою реальную власть, и безоружной толпы он – представитель древнего рода Понтиев по прозвищу Pilatus – от латинского Pilum, то есть «метательное копье», «дротик» – был Пилат ранее, скорее всего, центурионом, а возможно, и старшим центурием когорты копьеметателей, – то есть обладал воинским опытом, врожденной и приобретенной жесткостью, решительностью – он – Понтий Пилат, пятый Префект Иудеи – никогда не пошел бы на поводу у сборища людей, «вооруженных» тфилинами? – Чушь. Нет, не еврейской толпы боялся Пилат Понтийский… Одно бесспорно: «***И пока еще Он говорил, пришел Иуда, один из Двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных***». (Мф. 26, 47). То же у Марка, (к «Первосвященникам и старейшинам» добавлено еще и «***книжников***»). (Мк. 14, 43). Лука умалчивает, кто «брал» Спасителя – просто: «***вот толпа***» (Лк. 22, 47). Однако Иоанн, опять – таки, уточняет, а вернее, корректирует: «***Итак, Иуда, взяв когорту, а от первосвященников и фарисеев – служителей, приходит туда с фонарями и факелами и оружием…***» (Ин. 18, 3). И далее еще раз подчеркивает: «***Итак, когорта и трибун и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели его сперва к Анне***…» (Ин. 18, 12–13). Что же бесспорно, так это то, что иудеи только арестовали Учителя, или же, скорее всего, лишь присутствовали при этом, как утверждает Иоанн Богослов. Всё же дальнейшее настолько расплывчато, спорно и, чаще, нереально в том историческом контексте, что никакого повода для обвинений иудейства в юридическом обосновании или оформлении казни Иисуса быть не могло: иудеи не имели права приговорить Иисуса к смерти (вопрос: нужна ли была им его

смерть?), не могли привести приговор в исполнение, а если бы и осмелились нарушить «табу», то воспользовались бы традиционным способом – ***лапидацией,*** т. е. «побиением камнями», удушением или сожжением; не было у них рычагов воздействия на Имперский Рим для претворения в жизнь своих претензий. И кричать «распни Его», они тоже не могли. Либо этот крик был организован провокаторами из римлян, а толпа лишь подхватила этот призыв, либо это – более поздняя вставка, когда казнь через распятие стала общим местом в описании последних дней Спасителя. Толпа могла кричать «*у*бей Его», «побей (камнями) Его», «повесь», но не «распни»: в момент массового психоза срабатывает подсознание, а в подсознании иудея не могло быть этого слова, чуждого его тысячелетней культуре. Что-то здесь не так…

Однако не это главное. А главное: почему в одну ночь было нарушено всё, что можно было нарушить?!

* * *

«Как в кино» – почему-то подумалось ему, и он закричал. Крик застрял в груди. Длинный еще раз ударил старика по лицу. Она кинулась к ним. Полы расстегнутой шубы листьями бананового дерева накрыли объектив, и он мгновение ничего не видел. Она летела к ним. Он беззвучно кричал и пытался поспеть за ней, схватить за руку, за полу шубы, за шарф, остановить, но ноги врастали в асфальт, в жидкую снежную кашицу. Длинный отскочил, она кинулась к упавшему старику, но из тени вынырнул маленький крепыш. Он легко, как бы шутя, ударил ее кулаком в спину, она остановилась, обернулась, удивленно развела руками, как будто неожиданно встретила старого знакомого, и стала садиться на землю. Его взгляд поймал лежащую на земле узкую короткую железную трубу. Он потянулся к ней: «Надо успеть, надо» и опять подумал – не к месту и не вовремя: «Как в кино, а раньше думал, в кино всё придумано». И еще успел: «Я должен проснуться». Рука дотянулась до трубы. Он услышал, как через секунду хрустнет череп низкорослого, и проснулся.

* * *

Сколько помнилось, он всегда был сдержан, скрытен, всячески подавлял в себе, почти всегда успешно, «женские сантименты» и очень гордился этим. В детстве часто думал о себе почему-то в третьем лице: «Какой он сильный духом мальчик, другой бы расплакался на его месте, а он – ничего, сжал губы и молчит. Настоящий мужчина, а не какая-нибудь красна девица»… Он гордился собой и стеснялся этой гордости, гнал от себя дурацкие мысли, потому что неприлично так думать о самом себе, но они непроизвольно лезли в голову – правильные были мысли, хоть и нескромные.

Прозрачная старушка из полуподвальной квартиры, где жила семья дворника, и где этому «Божьему одуванчику» оставили маленькую комнатку, видимо, в память о том, что ее родители когда-то владели всем этим многоэтажным доходным домом, так вот, эта старушка – «привидение» – как-то назвала его «Коленькой-Николенькой», и это непривычно ласковое имя так поразило его, что ночью, забившись под одеяло и свернувшись в комочек, вспомнив и это нежное слово, и выражение ясных глаз, окутанных лабиринтом извилистых глубоких морщинок, и интонацию неожиданно низкого, чуть хриплого, прокуренного голоса, он плакал так беззвучно-сладко и безнадежно, как не плакал никогда в жизни ни до того солнечного январского дня, ни после. Впрочем, он вообще почти никогда не плакал, потому что не признавал сантиментов, как и его папа.

Папа его не баловал. Он вообще был немногословен, сдержан в движениях, эмоциях, особенно в похвалах. В институте его отца уважали и побаивались не только студенты, но и коллеги – преподаватели и даже профессора. Профессора, наверное, были все с седыми бород-

ками клинышком, в ермолках и с сучковатыми палками в жилистых руках. Во всяком случае, так он себе их представлял, и, когда увидел на папином пятидесятилетии двух профессоров, очень удивился, разочаровался и расстроился: один был совершенно лысый, маленький и пузатенький, с бегающими глазками и влажными суетливыми в движениях ладонями, постоянно облизывающий губки – какой-то слюнявый и скользкий, а второй – мрачный, высокий, с торчащими во все стороны густыми черными волосами и синей невыбриваемой щетиной, доходившей до самых глаз; «типичный Карабас-Барабас, если бороду отпустит», – подумалось тогда. Причем «Карабас-Барабас» пил коньяк рюмку за рюмкой, почти не закусывая, и не пьянел, что было поразительно. Значительно позже он подозревал, что именно этот «Барабас» и написал донос на папу, но, как оказалось, ошибался.

Папа был доцентом, и мама постоянно «пилила» его, что давно уже пора сесть за докторскую: «даже такие бездари, как Павлушкин или Кочемасова, уже давно «украшают», в кавычках, профессуру, а ты – самый яркий еще со студенчества всё торчишь в доцентах», – на что папа отвечал неизменно тихо, но твердо: «отстань, не пили»… Однако один раз папа, отвечая на мамины призывы, добавил: «отстань, не пили… *у нас сейчас* лучше не высовываться». Эта фраза запомнилась на всю жизнь. То, что его отец действительно «выдающийся ум», он слышал не только из маминых уст. Так говорили все папины сослуживцы, особенно тогда, когда его поблизости не было, так как папа эти нежности не любил и всегда повторял: «не верю я им…».

Наказывали его редко. Пару раз папа его выпорол, однако оба раза за дело – это ему было абсолютно ясно. Он не был драчуном, но когда ему один раз заехали в дворовой свалке по носу, а другой – подло подставили ножку, и он упал на глазах всего двора лицом в лужу, в этих случаях он не смог себя сдержать и отколошматил обидчиков, не помня себя от обиды, боли и стыда. Один из тех, кому он пустил кровянку, был сыном человека, которого все очень боялись, причем родители больше, чем дети. Этот Шишкин-папаша работал в «Большом доме», никто не знал, кем, но слова «Большой дом» завораживали сами по себе, как завораживает питон свою возможную жертву, даже если и не думает задушить ее в своих объятиях. Позже он узнал, что этот страшный папаша был простым завхозом, а может, и просто дворником, но… в «Большом доме». Страх, внушаемый Шишкиным-отцом и тем учреждением, в котором он служил – пусть даже дворником, – запомнился и со временем наполнился притягательной силой: хорошо, когда тебя боятся, хорошо принадлежать к такому всесильному, наводящему ужас клану, быть в нем своим…

Его семье Шишкин-старший ничего плохого не делал, как, наверное, никому во дворе. Запомнился он старым спившимся человеком, от которого всегда пахло… То ли мышами, то ли дерьмом.

* * *

…Понимаю, что «не царское», то бишь не научное это дело, но ничего не могу с собой поделать. И студентам не скажешь, с коллегами не поделишься, даже моей очаровательной и умненькой – слишком умненькой – аспирантке – я Вам о ней неоднократно с гордость рассказывал – не заикнешься, хотя она бы меня поняла. Только Вам, мой дорогой Сигизмунд Натанович, могу признаться: с той поры, как стал руководителем диссертации Ир. Всеволод., т. е. погрузился в Смутное время, повешенный мальчик не дает мне спать, иногда читаю лекцию или семинар веду, в трамвае трясусь или ужинаю, – не поверите, вижу этого несчастного Ворёнка. За что? Он был так мал и худ, а веревка – специальная, «фирменная» для «вора» – была так непомерно толста – она плелась из мочал, – что он не мог быть даже задушен моментально: узел не затягивался вокруг его тонкой шеи, и висел он долго – несколько часов, коченея на холоде… Что он чувствовал – беззащитный, маленький, одинокий. Страшно, больно, холодно… «За что!»… Народ ходил и смотрел на этого четырехлетнего мальчика,

мучительно умиравшего на виселице у Серпуховских ворот… Что он сделал плохого этим людям? Что он мог сделать? – Своим существованием напоминать «победителям» Смуты – Романовым, прежде всего, да и всей элите от Голицына, Лыкова, Черкасского до Мстиславского и Трубецкого об их роли в организации и разжигании этой Смуты? Или они вымещали на трех-(или четырех-?) летнем младенце взаимное озлобление? Возможно, в крови младенца они топили осознание своей греховности и страх перед расплатой? – Хотя вряд ли: это возможно у людей совестливых… Или же таким образом снималась потенциальная угроза провозглашенному и уже полтора года царствовавшему Михаилу? – Бред! Даже до избрания Романова среди претендентов на престол Ивашка был самый незаметный, самый безнадежный. Ни Марина, ни Заруцкий не имели фактически никакой опоры. Но, что бы ни было, откуда такая злобная, уникальная даже для этого века, жестокость к ребенку, чья вина была лишь в том, что он был, как говорится, «плодом любви». Поразительно, но Марина, лишь терпевшая своего первого мужа – Дмитрия, обладавшего несомненными достоинствами, искренне полюбила своего второго Димитрия – «Тушинского вора» – личность ничтожную; во всяком случае, она была единственной, кто искренне оплакивал его гибель (как свидетельствуют очевидцы: «… царица, бывшая на последних месяцах беременности, выбежала из замка (в Калуге, где содержалась в то время), рвала на себе волосы, просила убить ее, нанесла себе несколько ножевых ран, оказавшихся неопасными…»).

Кстати, несколько свидетелей, никак между собой не связанных, говорят, что была метель, «снег бил мальчику в лицо», однако по всем официальным данным он был казнен в середине июля 1614 года. Могла ли быть метель в середине июля, бывало ли такое летом? Во время страшного неурожая 1600–1603 гг. летом были заморозки, но вот метель?.. – Вам не попадались ли данные о подобных погодных феноменах? Или это был, действительно, «знак Божий» (звучит нелепо в устах убежденного атеиста)?

…Пишу это, а перед глазами палач, который несет плачущего мальчика к виселице, прижимая к себе, прикрывая от снега его обнаженную головку, и успокаивает…

* * *

Алена всегда приходила с улыбкой на лице и сюрпризом, скрываемым в спортивной синей сумке. Сюрприз имел свой неповторимый вкус. Иногда это была буженина собственного изготовления, иногда пирожки с мясом и грибами, в которых тесто было пергаментно прозрачно, а начинка – сочна и обильна.

Третьего дня, а вернее, неделю назад, она удивила Абрашу фаршированной рыбой, приготовленной по рецепту Ариадны Феликсовны – самого авторитетного кулинара в их поселке.

Обычно она появлялась неожиданно, около одиннадцати вечера. В это время, ознакомившись с прогнозом погоды на завтра, Абраша выключал маленький переносной телевизор, стоявший на холодильнике «Днепр» в кухне, совершал вечерний туалет и настороженно прислушивался к звукам на улице. Иногда он даже выходил на крыльцо и пытался проникнуть взглядом в пропитанную сажей вату ночи, окутывавшую его сруб. Он ждал ее всегда. Но приходила она редко и всегда неожиданно. Вот и сегодня, он уж и помылся, и разделся, то есть снял ватник, который, казалось, прирастал к его телу за день, выпростал ноги из солдатских галифе, стащил протертые боты, доставшиеся ему в наследство от деда Фрола – местного сторожа, завхоза и председателя правления, его, Абраши, единственного когда-то собутыльника, угоревшего прошлой зимой в бане, где он уснул, находясь в сильном подпитии, – и надел фланелевую в красно-синюю клетку рубашку – «ковбойку», выцветшие лиловые шаровары, войлочные тапочки, и решил было для лучшего сна, не торопясь, выпить стаканчик, чтобы завтра с утра начать, как следует, не просыхая. Он вынул непочатую «Московскую» и заветное «Мар-

товское», открытую банку «Бычков в томате», раскрыл было Фаррара на заложенной странице, как раздался стук – знакомый, долгожданный, условный: «Вы-ходи-ланаберегКатю-ша».

– Ну вот, Абрань, и я.

– Вижу, вижу, заходи, не стесняйся.

– Да куда ж мне стесняться.

Она торопливо разделась, но тут же, спохватившись, накинула абрашин ватник и выбежала во двор. Заскрипела ручка колодца. Через минуту она внесла полное ведро воды – Алена удивительным образом умела носить полные до краев ведра, никогда не расплескав ни капли, – и взгромоздила его на печь. Раньше Абрашу коробила эта простота, эта обыденность, которые предшествовали самому интимному, самому таинственному, самому сокровенному и возвышенному, что было у него – здесь уместно отметить, что Абраша был по природе своей человеком застенчивым, замкнутым и щепетильным в вопросах личной жизни, которая, кстати говоря, была у него не богата событиями. Однако со временем он привык к этим ведрам воды, к тазику, заранее устанавливаемому в углу кухни у печи. Видя эти приготовления, он посмеивался, поскребывая свою трехдневную щетину, и приговаривал: «Чистота – залог здоровья».

Алена с шиком раскрыла свою синюю сумку-«самобранку» и извлекла завернутую в фольгу тарелку – в ней оказалась селедка «под шубой», – майонезную банку печеночного паштета со шкварками и холодный кусок телятины.

– А какой сегодня праздник, мать моя?

– Грибы твои накрылись медным тазом, и ты пролетел, как фанера над Парижем.

– А с чего ты так радуешься?

– Так тебя вижу.

– Ну, ладно тебе, лапшу мне вешать.

– А тебе лапша к лицу – ишь, как узорно свисает… Ну, ладно, расцеловался… Ну… Ну подожди, перекуси, пока свежее. Только сейчас сготовила. Настя всё ворчит – ты его, охламона, кормишь, кормишь, а он тебя к венцу не зовет.

– А ты что, хочешь в ЗАГС со мной?

– Я что, с дуба рухнула?.. Ну перестань, ну покушай… Совсем исхудал. Ребра у тебя на спине тоненькие, как гнутые спицы, все – наперечет. Господи, за что тебе все мученья!

– Ладно, не кудахтай. Выпьешь?

– Это ты выпей. И закуси. Тебе когда на дежурство?

– В следующую неделю.

– Ну, тогда можно и выпить, благословясь.

– За что выпьем?

– За то, чтобы хорошо всё было.

– Это значит за тебя. Хорошо только тогда, когда ты рядом.

– Не надо, Абрань, а то я слезливая в последнее время стала.

Они выпили. Впрочем, пил он, а она на него смотрела и радостно улыбалась. Поговорили о погоде, о грибах, о политике: будет ли после Андропова лучше или хуже, может, перестанут хватать днем в банях или магазинах и стоило ли самолет с несчастными сбивать. Абраша сказал: «Что взять с людоедов», но Алена засомневалась, а вдруг шпионы там были. Потом скомандовала: «Всё, иди ложись, я сейчас».

Он лег и слушал, как струйка воды звенит по дну таза, звон сменился всплесками, затем что-то долго шуршало, финальным аккордом прозвучал скрежет, извлеченный дном пустого ведра о кирпич печи, и она нырнула к нему под одеяло.

– Согрей меня!

– Так натоплено.

– А ты согрей.

Такой диалог происходил каждый раз. Она прижималась к нему, и они лежали, молча и неподвижно. За окном чуть завывало. Голые ветки жалобно постукивали в окно. Так собака стучит хвостом по деревянным опорам крыльца, просясь в дом.

– Почему Бог наказал меня, и не могу я понести от тебя?

– Так это он не тебя, а меня наказал.

– Нет, у тебя всё в порядке. Это – моя беда.

– Ничего. Мы эту беду поправим.

– Думаешь?

– Постараемся.

– Ну, давай, старайся.

И он старался. Старались они оба, и радостные были эти старанья, и светлыми были минуты забытья, и жадными пробуждения, и бездонными пропасти, в которые проваливались они в судорожных, неразрывных объятьях.

Когда она засыпала, он смотрел, облокотившись на руку, – Алена спала только на правом боку – на ее чуть вздернутый нос, на светлые волосы, серебрившиеся в слабом лучике лунного света, пробивавшегося сквозь подмерзшее стекло окна, на губы, чуть шевелящиеся во сне, на ее руку, сжимавшую тонкими, длинными пальцами одеяло под самым подбородком, на ее маленькое прозрачное ухо и на свою кисть, совсем недавно такую сильную и гибкую и внезапно исхудавшую, изнеможенную и думал: «Хорошо. Не зря я жил. Не так, как хотелось, но жил».

Он лег на спину, прислушался к ее ровному дыханию и успокоенно стал перемещаться в свой мир – мир своих фантазий, сомнений, мыслей. А мысли у Абраши были странные.

* * *

– Глянь-ка, наш Захар опять гулять пошел.

– Так он теперь по три разу в день ходит.

– Родион его выгуливает.

– Да, повезло старику. Где он его нашел?

– Где, где – в Вологде – где-где-где… на улице, где. Здрасте, Захар Матвеевич. Никак опять пошли пройтиться.

– Здорово, девоньки!

– Ничего себе, девонек нашел!

– Каков парень, таковы и девахи.

– Как ваш Родик поживает?

– Таки ничего, спасибочки, радует меня, радует.

– Ну, бывайте. Здоровьица вам, Захар Матвеевич, храни вас Господь.

– Зай гизунд, девочки-припевочки.

– … Хороший он мужик. Тихий, незлобивый. Несчастный только. Один да один.

– Сейчас-то он светится.

– Еще бы, такого дружка нашел. Раньше, помнишь, во дворе, как встретит, не оторвать было. Замудохает, бывало, разговорами.

– Ведь он молчал целыми днями в своей квартирке. Не со стенами же говорить.

– Так и я о чем! А теперь он с Родиком беседы ведет. Сама слышала. Рассказывает ему о политике, о прогнозе погоды, о нас с тобой сплетничает, старый хрен. Одно не пойму, это хорошо собаке человеческое имя давать? Ну, назвал бы Диком или Джеком – всё не по-нашему. Или Шариком – Тузиком.

– Сама ты Шарик – Тузик!

– Не знаю, не знаю. По-моему, это грех собаке имя человеческое давать. Особенно близкого.

– Какое наше дело. Ему хорошо, собаке хорошо, и – слава Богу. А Родионом его сына звали, земля ему пухом. Хороший парень был, добрый, воспитанный. Теперь этот Родик стал ему роднее всех людей.

– Да… неисповедимы пути Его…

* * *

Ира лучше всех в классе играла в баскетбол. Высокая, подвижная и очень прыгучая, она почти всегда подбирала мяч под кольцом, перехватывала в воздухе, владела дриблингом и приносила больше всех очков. Поэтому она была звездой класса, в нее влюблялись и одноклассники и даже старшеклассники, которые обычно на мелочь пузатую внимания не обращали. Однако она была неприступна и ни с кем даже не целовалась. Вернее, один раз попробовала – с Никодимовым из параллельного 8-го «Б», но ей не понравилось: от Никодимова пахло пóтом и жареным луком, целуясь, он сопел, а нацеловавшись, стал хихикать, как придурошный, и прыгать на одной ноге с проезжей части на тротуар и обратно.

Здесь надо сказать, что Ира ко всему прочему быстрее всех бегала стометровку, была коротко – «под мальчика» стрижена, плавала в бассейне – это была огромная редкость – и занималась музыкой. С пяти лет к ней ходила старенькая учительница музыки – добрая тихая женщина, не утомлявшая свою способную ученицу гаммами, этюдами и скучными сонатинами Клементи или Кулау. Они играли в четыре руки легкие переложения популярной оперной или балетной музыки, иногда старинные русские романсы – вместе пели, и Ира аккомпанировала. Ире такие уроки очень нравились, но, когда ей исполнилось десять лет, папа решил, что успехи недостаточны, и Сарре Евсеевне, сделав дорогой подарок, от дома отказали. Пришла новая училка, которая Ире тоже очень понравилась, – она была элегантна, от нее пахло хорошими духами, руки были очень мягкие, теплые, сухие, ими она поправляла локти, не давая им прижаться к туловищу, кисть, которую она легко поглаживала, говоря: «расслабь, не зажимай», она никогда не повышала голос, часто приносила маленькие подарочки, и вообще – нравилась, и всё тут. Иногда, как бы невзначай, она поглаживала Иру по лицу, по шее, несколько раз после удачных уроков даже поцеловала ее – быстро, легко, но у Иры перехватывало дыхание и приятно ныло в низу живота. У Кристины Леопольдовны губы были как руки – теплые, сухие, нервные.

Когда Ире исполнилось девять лет, родители подарили ей щенка. У него были толстые лапы, большой животик, длинные уши и карие глаза. На всех взрослых он смотрел с пониманием и готовностью к послушанию, на Иру же – с преданностью и обожанием. Даже слюни пускал и несколько раз описался от восторга, когда она возвращалась домой после непродолжительного отсутствия. Он спал в ее комнатке. Когда родители затихали, она тихонько брала Тимошу в свою кровать, гладила его, рассказывала о своих делах и проблемах. Так они засыпали – она, положив свою ручку на его маленькое тельце, а он, как человечек, устроившись головой на подушке, посапывая, иногда облизывая ее пальцы в знак согласия и понимания, – и не было никого на свете, счастливее их, и никогда больше в своей недолгой жизни не спала Ира так легко, сытно, безмятежно.

После смерти бабы Веры лето они обычно проводили на даче, которую снимали в Комарово. Мама ушла от папы. Может, наоборот – папа бросил маму. Ира подробностей не знала, так как бабы Веры не стало, и некому было посвятить ее в тонкости семейных пертурбаций. Мама вышла замуж за Леонида Николаевича. Он был мужчина спокойный и медлительный, международной политикой не интересовался, но в доме все было в порядке: провода не болтались, замки закрывались и даже открывались, Ирина кровать обрела законную ножку – до того ее заменяла стопка книг. Мама перестала ездить на гастроли. «Устала, наездилась», – говорила она соседям и друзьям, но Ира подозревала, что маму и не приглашали. Она перешла из своего

Бюро в «Ленконцерт», где прилично зарабатывала, но по радио уже не выступала. Ира привязалась к ЛеоНику – отчиму, и он, видимо, полюбил ее, во всяком случае, внимания от него было больше, чем от мамы, и с ним Ире было уютно и надежно, как с бабой Верой.

Закончились поездки в деревню на парное молоко и яйца из-под кур. Отдых принял цивилизованный характер. На Комарово остановились потому, что недалеко от города, электрички часто ходят, снабжение приличное и публика интеллигентная – академики, профессора, артисты. Иногда можно было увидеть прогуливавшихся по тихим комаровским улицам Толубеева, Лебзак или Меркурьева, а один раз Ира столкнулась нос к носу даже с Черкасовым, а другой – прямо у продовольственного магазина – с Юматовым – его Ира обожала больше всех. Лена – дочь соседей – уверяла, что видела Любовь Орлову, но Ира ей не верила. Так что в Комарово было хорошо. Один раз, правда, съездили в Молдавию – на фрукты-овощи – но там стояла жара и пыль столбом, купаться в речке из-за обилия слепней было невозможно, они уехали раньше срока, проторчав остаток лета в городе. В Комарово же они жили среди высоких, прямых, пахнущих смолой сосен, кустов смородины и малины, грядок с клубникой, парничков с огурцами и вечнозелеными помидорами. Ире там нравилось в любую погоду: и в сыроватые, дождливые холодные недели, пронизывавшие лето ленинградских пригородов – эти недели были наполнены интересными книгами, перешептыванием с подружками в одинаковых клеенчатых дождевиках, ожиданием грибов – это под осень, – и в знойные июльские дни, которые всегда неожиданно обрушивались на изголодавшихся по теплу дачников ярким светом, солнечными бликами, мечущимися по зеркалам, чайникам, хромированным изгибам спинок кроватей, по фотографиям незнакомых людей, развешанным на стенах, стеклам распахнутых окон, скользящими с потолка на печь, с печи на стены, со стен на лицо, оглушающим ликованием ошалевших от радости птиц, радостными возгласами всех мам, населявших этот старый двухэтажный дом: «Вставай, вставай, сегодня – солнце!», когда поспешно скидывались и недалеко прятались свитера, резиновые сапоги, плащи, шерстяные пледы, теплые кальсоны, телогрейки, вязаные носки, калоши, обогревательные батареи и прочие необходимые атрибуты лета на Карельском перешейке.

В такие теплые дни все шествовали на Щучье озеро – не торопясь, с наслаждением вдыхая прогретый сосновый воздух, пахнущий смолой, сухим песком, вереском, хвойными иголочками и молодыми еловыми шишками. Их иногда перегоняли велосипедисты, очень редко – «Москвичи» или «Победы», передвигавшиеся тяжело, вперевалочку, перегруженные дачным скарбом. Тимоша радовался особенно бурно: лаял, не умолкая, носился вперед, назад, кругами. Собственно, из-за него и шли все медленно, с остановками, давая ему время обнюхать все кустики, пометить и переотметить кочки, основания телеграфных столбов и деревьев, пни и подозрительные следы пребывания его сородичей. Спешить было некуда и незачем. На озере проводили весь день, с собой брали полдник в виде бутербродов с колбасой, с сыром, холодным мясом, помидоры, вареные яйца, загодя дома очищенные, огурцы, яблоки, спичечные коробóчки с солью и питье – кто постарше, те – «Боржоми» или «Ессентуки» № 17, для молодежи – лимонад «Грушевый» или «Апельсиновый». Бутылки в сетках ставили в небольшую заводь, чтобы жидкость сохраняла прохладу, набранную в стареньком слабеньком дачном холодильнике или в погребе. Взрослые расстилали брезентовую плащ-палатку, на которой загорали, играли в карты, разворачивали свертки с нехитрой трапезой. Дети размещались на махровых полотенцах. С соседнего покрывала доносились хрипящие звуки только что появившегося дефицита – «Спидолы»: позывные новорожденной радиостанции «Маяк» или прорывавшийся через частокол треска и шипения голос любимой всем Комаровым Майи Кристалинской. Все с восторгом подставляли солнцу свои измученные ленинградским климатом синюшные тела, жадно впитывая тепло, «ультрафиолет» и дыхание озера, смешанное с ароматом распаренной хвои. К их приходу озеро прогревалось, и, не дожидаясь разрешения старших, молодняк кидался в воду. Сначала Тимоша побаивался этой непростой стихии, но потом

осмелел – купался он долго, пробуя догнать Иру, которая плавала хорошо – и на спине, и на груди – кролем. Потом он старательно отряхивался, стараясь быть поближе к лежащим на подстилках взрослым, вызывая тем самым шумный и, надо честно сказать, справедливый протест.

Зимними ночами они часто вспоминали те прекрасные солнечные дни в Комарово. «А помнишь, как ты чуть не захлебнулся? А помнишь, как ты обрызгал толстую Марфу со второго этажа? (Правильно сделал, она – жадина, велосипед у нее не допросишься!) А ты хочешь опять на дачу?» – На все вопросы Тимоша отвечал утвердительно, интеллигентно и благодарно шевеля кончиком хвоста и тыкаясь мокрым носом Ире в шею или быстро, пока не оттолкнули, старался облизнуть ее нос или руку.

В последнее лето теплых дней было значительно больше, и Ире даже надоело ходить на озеро. В тот год она вдруг выросла, стала задумчивой, часто раздражительной и очень хорошенькой. Вернее – интересной, насколько может быть интересной девочка в тринадцать с половиной лет.

Помимо всего прочего, она вдруг обратила внимание на то, что Алеша, живший через два дома по той же Еловой улице, оказывается не просто Алеша, сын академика Викентия Михайловича и профессора Елизаветы Багратионовны, а интересный юноша, высокий, спортивный, голубоглазый. В то лето он стал студентом, причем не какого-нибудь простого вуза, а Консерватории. К тому же у него появился чудесный велосипед, с гнутым, как рога у барана, рулем. Ире очень хотелось покататься на таком велосипеде, но еще больше ей хотелось, чтобы сам Алеша покатал ее на этом чудном «коне» – она представляла, как будет сидеть впереди на раме, свесив ноги в одну сторону, а он будет, сидя сзади, крутить педали, рулить и, невзначай, конечно, обнимать ее, волосы будут развиваться на ветру… Впрочем, развиваться они не могли бы, так как она была коротко стрижена… Но, всё равно, это было бы здорово. Еще Ира мечтала пойти к ним в гости. Жили Казанские в большом доме, но не снимали комнатку, как Ирины предки, а именно жили. Зимой и летом. У них была квартира в городе, но большую часть времени они проводили именно на этой громадной даче. Ира видела, как за Викентием Михайловичем приезжала большая черная машина ЗИС-110 и, не торопясь, осторожно вывозила его на службу – в Академию наук. Ей очень хотелось посмотреть, как живут академики, но ее никто не приглашал. Встречаясь на улице, они здоровались с ней, расспрашивали, как ее учеба, как поживают родители, гладили Тимошу, но домой почему-то не звали. Впрочем, с тех пор, как Алеша стал ее замечать, она перестала думать об академическом доме.

Несколько раз он даже звал ее на озеро. Ира с замирающим от восторга сердцем бежала спрашивать у взрослых разрешения. Они каждый раз говорили одно и тоже: «Погоди, мы тоже скоро идем». – «Что ждать-то?» – «Тебе не терпится?» – «Так ее же Алешка ждет, ты что, не понимаешь?»… Вместе с ними бежал и Тимоша. Он влюбился в нового молодого друга и не отходил от него ни на шаг. Ира даже приревновала.

Тимоша повзрослел, перестал грызть тапочки, ножки столов и стульев, реже пытался проникнуть на стол в момент, когда хозяева отвернутся. Однако походы на Щучье ему не надоели. Он начинал дрожать, скулить, приседать и колошматить хвостом по полу от волнения, счастья и нетерпения, когда ему говорили: «Давай, дружок, собирайся на Щучье!».

Это, казалось, было самое счастливое лето в ее жизни.

В последнее время они отправлялись на озеро всей гурьбой. Алеша колесил вокруг них на велосипеде. Ира каждую минуту ждала чуда – она не знала, какого именно, но в том, что этим летом произойдет нечто изумительное, она не сомневалась.

И на сей раз они опять, не торопясь, всей большой дачной компанией продвигались по исхоженной сотни раз лесной песчаной дороге, Тимоша носился, Ира звала его, он не без промедления и сожаления, но регулярно догонял их всех. Ира подумала: «Как я могла раньше не хотеть ходить на озеро! Сидеть в душной комнате с книгой для внеклассного чтения?!.» Сейчас же, минут через десять она окунется в прохладную воду, и Тима с радостным взвиз-

гиванием кинется за ней – то ли спасать, то ли играть. Алеша укатил вперед, Ира пыталась ускорить движение неповоротливой, разомлевшей от жары взрослой публики, но Тимошка где-то застрял. Она хотела его позвать, но в этот момент она услышала надсадный рокот мотора. «Тима, Тимош, ко мне», – по привычке крикнула она. В этот момент из-за поворота вынырнул «Москвич», собака, оказавшаяся каким-то образом на другой стороне дорожки, кинулась к ней. «Стой, стой», – успела выкрикнуть…

До конца своих дней – часто во сне, но и наяву нередко – видела Ира лицо парня, вцепившегося в руль, с вылезающими из орбит глазами, с раскрытым в неслышимом снаружи крике ртом. Он, видимо, изо всех сил вдавил педаль тормоза в пол, и машина встала, уткнувшись носом в поднятый ею пыльный дымок. «Господи, успел!» Действительно, он резко затормозил, и Тимоша оказался почти не задетым. Его голова, его лапы, его туловище, его хвост были целы. Он лежал на Ириных руках тепленький, мягкий, добрый. Ира гладила его и говорила: «Что ж ты натворил», и он слушал ее, доверчиво прижимаясь к ней, как бы прося защиты, и она гладила его голову, легко проводя ноготком от черной пуговки носа к макушке, от пуговки к макушке, почесывала за ушком, перебирала затвердевшие с возрастом шершавые подушечки его лап, свисавших толстыми сардельками, утыкалась носом в его короткую шерсть, вдыхая неповторимый, самый сладкий на свете запах, и говорила, говорила, но он почему-то не отвечал, но смотрел в сторону задумчиво и грустно, кончик хвоста не реагировал, нос потерял свой мокрый блеск, он даже не пытался лизнуть ее, он спокойно лежал, обхватив лапами ее левую руку, и Ира чувствовала, что где-то внизу, где-то в области ее желудка делается пусто и холодно.

Больше никогда в жизни она не приезжала в Комарово.

* * *

Пару лет назад, когда Алене исполнилось тридцать пять лет, собралась у них большая компания. Еще намедни, когда они с Аленой и Абрашей обсуждали меню и вообще все детали наступающего торжества, Настя почувствовала, что свершится нечто необычное в ее жизни. Хорошее или плохое, было неясно, но, что случится, – точно.

Много гостей не ждали – человек 7–8, но, на всякий случай, Абраша закупил шесть поллитровок водки, четыре бутылки вина, пиво и принес давно припасенную «Рябину на коньяке» для Клары Нефедовой и Насти – они любили сладенькое. Алена наготовила человек на десять, стульев у оставшихся в поселке соседей натаскали полную прихожую. И не ошиблись. Во-первых, Зинаида Федоровна неожиданно для всех и для себя самой помирилась со своим мужем, который, как оказалось, «завязал» и три дня ходил «сухой». Посему семья Никитиных явилась в полном составе. Зина зорко наблюдала за своим благоверным – не сорвется ли. Благоверный же излучал исключительно положительные флюиды, на стол, уставленный бутылками «Московской», «Столичной», «777» и «Жигулевского», демонстративно не смотрел. Он прохаживался вдоль стола, потирал руки, оправлял топорщившийся пиджак, и пытался завести разговоры с остальными еще трезвыми и поэтому скучными и неразговорчивыми соседями. Во-вторых, Николай привел своего дружбана. Николай жил в домике напротив избы Фрола – кооперативного начальника, сторожа и дворника, который через год угорел в парилке, напившись перед этим самогона, присланного из Белоруссии. Самогон был хорош, его многие в поселке отведали, но угорел только Фрол, так как выпил слишком много. Да и запивал, наверное, пивом. Но это будет еще не скоро, а пока что Фрол задерживался. Он пришел позже, поздравил Алену, расцеловал прямо в губы – это при всех-то, при Абраше, и выпил одним махом стакан «Столичной». Так вот, этот Николай привел своего друга – высоченного и здоровенного парня, неловкого на вид и поэтому с виноватой, но хорошей улыбкой. Настя, как увидела, так и обомлела, поняв: это – то самое.

В тот вечер пили хорошо – хотя, кто мне скажет, когда это на Руси пили плохо? Благоверный был сер и скучен, он брезгливо царапал вилкой по тарелке, всем своим видом подчеркивая, что это – гнусь: есть такую закуску – салат оливье, винегрет, квашеную капусту, соленые огурцы, селедку с горячей картошкой и прочие прелести – и не пить. Он и не пил, чем Зинаида Федоровна явно гордилась. Она еще не знала, что, свершив сей подвиг, ее Егорушка, с омерзением давившийся дармовой закуской, назавтра сорвется с такой злобной решимостью, с такой мстительной радостью, с которыми она ни разу не встречалась за двадцать семь лет совместной жизни и о которых не подозревала: благоверный пил три недели, начав с коньяка «Двин», подаренного ему на пятидесятилетие год назад сослуживцами по Банно-прачечному тресту, где он служил в свободное от запоев время, и закончив одеколоном «Шипр», который выпросил у Фрола в долг.

Абраша пил много, но не пьянел. «Удивительный он, всё же», – думала Настя. «На еврея не похож – те все чернявые, маленькие и хитрые, а этот – высокий, светлый, хотя, скорее, седой – есть люди, рано седеющие, умный». И все в поселке, несмотря на его имя, уважали его, дети поначалу поддразнивали «Абраша – бяша», «Абрамчик – хуямчик», но, получив порцию подзатыльников от родителей, переключили свое внимание на хромого и убогого Свирю, жившего Христа ради в отгороженном закутке Правления. По любому вопросу обращались за советом к Абраше, и ни разу он не обманул доверие и надежды «обчества».

Как-то пару лет до того дня рождения Настя решилась спросить: «А почему ваше имя – Абрам? Вы на еврея-то не очень-то похожи?» – «А ты что, многих евреев знала? – «Да нет, не много, но – знаю». – «Ну, коль скоро ты такой знаток иудейства, чего мне тебе объяснять?». Однако снизошел – Настя еще больше запуталась.

Она-то хотела узнать, еврей ли Абраша, надеясь рассеять свои сомнения – Настя ничего против евреев не имела, но за Алену было боязно: сестрица втюрилась в этого мужика, пока он на нее не реагировал, но Настя знала, что Алена своего счастья не упустит. Так что у них наверняка сладится, тогда вдруг Абраша позовет ее к венцу, то есть в ЗАГС, а он…

Диалог ей запомнился.

– С чего это ты взяла, что, если Абрам, то – еврей?

– Так, это… ну, имя-то еврейское, не русское же.

– Не русское, это точно. А что, Авраам Линкольн – он тоже еврей?

– Так он же Авраам.

– Настя, милая, ты же – умная женщина. Это – одно и то же. И родился этот Абрам Линкольн в нищей хижине в американской глубинке, и был назван в честь деда, которого убили индейцы, и вкалывал он разнорабочим в полях, землемером, лесорубом, лодочником. По твоим понятиям – вздорным, кстати, – это биография еврея? Евреи вкалывают, дай-то Боже, но ты-то считаешь иначе?

– Ну, так я и не знала… Думала, он негров освободил.

– Раз освободил, значит, еврей?

– Иди ты, Абраша. Я – по имени.

– По имени… Кстати, Авраам – прародитель не только евреев, но и арабов, те имя его произносят «Ибрахим».

«Это уж ты загнул», – подумала Настя, но спорить не стала.

– Кстати, в России «Абрам» – одно из самых распространенных имен у староверов.

Настя было открыла рот, чтобы возмутиться, но вдруг вспомнила Абрама Тихоновича – глубокого старика, который приходил когда-то в их дом колоть дрова, убирать двор, подправлять ворота или забор и делать другую мелкую работу. Настя была тогда мала, но запомнила, что взрослые иногда шептали: «Абрам-то наш – из староверов».

Она уж пожалела, что затеяла весь этот разговор – дело было летом, и она собиралась за малиной – каждый раз, идя за грибами или ягодами, она торопилась уйти пораньше, так

как боялась, что кто-нибудь опередит, соберет ее «урожай». Понимала, что это – глупость, но ничего с собой поделать не могла. Однако Абраша не унимался. – «Ишь, завелся!».

– А вот скажи мне, знаток ономастики.

– Чего?

– Это наука об именах.

– Ну…

– Дуги гну. А русские имена это —?

– Иван да Марья.

– Вот и ткнула пальцем в…

– Небо.

– В небо, в небо. Чё юбку-то одергиваешь. Имена эти – еврейские, друг ты мой. Иван, или Иоанн – от библейского Иоханан, то есть «будет помилован Богом». Это греки переделали на Иоанна, и пошло – Жан, Джон, Янис, Вано, Ханс, Хуан…

– Сам ты Хуан!

– … Иван. Поди, «Евангелие от Иоанна» не читала… И вообще, что ты читаешь? Кстати, большинство всех имен на свете – библейские, то есть еврейские. Особенно в англоязычных странах и у мусульман.

– Ни фига себе.

– Самое популярное женское имя в Ирландии – Сара. Процентов шестьдесят имен – от евреев, твоих нелюбимых.

– Да чего они мне сделали? – Нелюбимых! Люди как люди.

– Процентов двадцать пять – греческие имена. Скажем, Александр – «защитник людей», самое распространенное имя на земле. Остальные имена – национальные – у нас, как правило, славянские. Ну – Вячеслав, к слову, – «самый славный».

– Откуда ты всё это знаешь?

– Болел в детстве много. Делать было нечего, читал. Привык.

– Болел, болел, а такой здоровый вымахал. Перестань, да ну тебя, опусти на землю. Всё Алене скажу!

– А Мария – мать Иисуса. Так что она просто не могла не быть иудейкой.

– Это я сама могла бы догадаться, – подумала и тихо шепотом произнесла несколько обескураженная Настя.

– Мария, – не мог успокоиться Абраша, – это – от Мирьям, имя встречается еще в «Книге Исхода»: «Мариам пророчица, сестра Ааронова»… Так что «Абраам» – имя интернациональное. Ладно, иди по свои ягоды, истомилась. И не описайся от удивления.

– А ты не хулигань.

– Э-э, постой. Я что тебе задаром лекцию читал?

– Соберу – отсыплю ягод.

– На хрена мне твои ягоды, только живот пучит.

– Хорошо, с Аленкой пришлю поллитровку. Хороший самогон, белорусский, слеза!

«Словом, одни евреи кругом», – подытожила Настя, пробираясь через ручей, отделявший поселок от леса. Она почему-то успокоилась и вспомнила анекдот, рассказанный как-то за столом – встречали, кажись, Новый год. «Приходит сын из школы и спрашивает отца: “Пап, учительница сегодня сказала, что Бог был евреем. Как так может быть?” – “Да, сыночек. Тогда все были евреями. Время было такое”». Насте с Аленой этот анекдот очень понравился, но все гости при словах «Бог» и «евреи» почему-то стали усиленно закусывать и громко говорить, какое в этом году вкусное «Советское шампанское» – полусладкое и пора выпить за Новый год еще раз.

И вот сейчас, глядя на хмельных раскрасневшихся гостей, она подумала: «Удивительный все-таки человек, Абраша, и, конечно, не еврей. Евреи так много не пьют, не пьянея». Больше об Абраше в тот вечер она не думала. А думала она об Олежке – Колином дружбане.

Олежка пил мало, пригубит и поставит, пригубит и поставит. Когда все прилично выпили и поели, пошли танцевать. Настя специально переместилась поближе к нему. Он сидел в одиночестве, разглядывая свои большие ладони. Она сразу заметила: не разговорчив, застенчив, при кажущейся неповоротливости – ловок, проворен и… остроумен – молчит, молчит, но как скажет – все в хохот. Короче, запала она на него. Одно тревожило: он был моложе ее лет на пять, если не больше. Она несколько раз ловила на себе его взгляд. Поэтому и переместилась поближе к нему, как только стали отодвигать стол, составлять в углу стулья, и с радиолы сняли тарелку с хлебом.

– А почему вас прозвали «Святой»?

– С чего вы взяли?

– Так Олег – «святой» по-скандинавски, – блеснула Настя эрудицией и еще раз подумала: «Дай Бог здоровья Абраше».

– Впервые слышу.

– А я, кстати, Настя, что значит «воскресенье» по-древнегречески, – продолжала она добивать несколько опешившего от потока новой информации Олега.

– А я знаю, – неотразимо улыбнулся он, и Настя вдруг поняла, почему не может оторвать от него глаз: у Олега были длинные, густые и пушистые ресницы. Смущенно улыбаясь, он начинал часто моргать, и эти мохнатые стражи глубоких синих глаз начинали смешно и трогательно хлопать – «хлоп», «хлоп», и Настино сердечко скатывалось куда-то вниз и в сторону.

– Вы знаете, что я – «воскресенье к новой жизни?» – ненавязчиво гнула свою линию внезапно помолодевшая и похорошевшая Настя.

– Нет, я знал ваше имя.

Олег покраснел и занялся дальнейшим изучением своих крупных рук.

В этот момент кто-то толкнул Настю, и она увидела, что это – Алена. Сестра выразительно и якобы незаметно развела руками и закатила глаза, и Настя не поняла, что обозначает эта жестикуляция: мол, «Чего ты на парня уставилась» или «Чего не приглашаешь его, дуреха?» Сообразительная Настя остановилась на втором варианте решения задачи, и выдавила из себя: «Вы танцуете?». Не поднимая головы, Олег кивнул, неловко поднялся, одернул свитер и обнял Настю.

«Анастáсия, – медленно, томно и сладко заклинал чей-то голос – то ли мужской, то ли женский, – Анастáсия»…

* * *

Впервые Николенька выпил в восьмом классе. Тогда собрались всем классом на квартире у Гути, у которого родители, собравшись за город – распечатывать после зимы свою дачу, – после долгих колебаний решили попробовать оставить сына одного в квартире без присмотра. Через полчаса эта радостная новость облетела всю мужскую составляющую их класса, и в пятницу вечером к шести часам наиболее нетерпеливые уже подгребали на Петрушку, 37, и там паслись невдалеке от Гутиной парадной, томительно ожидая выхода из нее Берты Соломоновны и Филиппа Арнольдовича с тюками в руках – счастливого пути, предки!

На эту свою первую вечеринку Кока пришел с опозданием, после английского (в отличие от своих сверстников он не занимался музыкой, фигурным катаньем или плаваньем, но ходил к педагогам по немецкому и английскому, педагоги были классные – университетские). К его приходу веселье достигло кульминации, все уже были пьяны. На столе стояло несколько бутылок дешевого портвейна и какая-то вспухшая банка с консервами. Портвейн еще было пить

можно, всё же не водка. Выпив пару стаканов и закусив дурно пахнувшими рыбными консервами, Николенька отрубился и то, что происходило дальше, знал лишь по рассказам. Оказалось, что домой он добрался благополучно. А вот Гарик – его ближайший дружок, отличник и «маменькин сынок» как незлобно дразнили его другие «маменькины сынки» – одноклассники, так вот, Гарик пришел домой без штанов. В пиджаке, рубашке, галстуке, в туфлях, носках со штрипками и даже в жилетке, но без штанов. Вспомнить, где он оставил штаны, Гарик не мог, видимо, зашел в первую попавшуюся парадную пописать и забыл поднять штаны… Эмилия Фердинандовна обегала все близлежащие парадные, но брюки так и не нашла. Пропал костюм, сшитый впервые в жизни в специальном закрытом ателье МВД. Хохоту потом было! В жилетке, галстуке, пиджаке и без штанов… Как выяснилось в понедельник, Гутю сильно не наказывали, только Филипп Арнольдович разбил о Гутину голову его любимую пластинку с «Лос Мехиканос» – Гутя обожал «Besame, besame mucho», – а Берта Соломоновна отвела Гутю за ручку в парикмахерскую, где его остригли наголо – это было ужасно: вместо густой буйной пшеничной шевелюры, на которую заглядывались даже девочки из старших классов, жалобно поблескивала унылая синеватая тыквочка с оттопыренными ушами и испуганными глазами. От потрясения Гутя два дня не ходил в школу, и, что поразительно, учителя сочли причину пропусков уважительной. Свою квартиру семья Гуттенбергов отдраивала неделю.

Во второй раз Кока наклюкался в парадной. Сначала выпили на скамейке бульвара Чернышевского бутылку вермута – жуткая гадость, – но настроение поднялось, как только этот ужас окончательно протолкнули в желудок. Очень скоро стало весьма весело: особенно забавляло пугать старушек, гулявших с маленькими собачками – надо было спокойно, как ни в чем не бывало, подойти и, поравнявшись с бабулей, громко кричать: «Собачка, собачка, где хвост, там и срачка». Бабули в изумлении отшатывались, и общество ликовало. Кока сначала боялся нарваться на знакомых своих родителей, но потом осмелел и перестал различать лица прохожих. Когда старушки закончились, все втиснулись в будку телефона-автомата и стали звонить: набирали любой телефон, скажем, «Ж-2-20-32» и, стараясь не хохотать, сообщали об отключаемой воде, купании слона или похоронах дяди. Монеток хватило на четыре звонка. Вот тут-то и надо было закончить праздник души, так как рука бойцов колоть устала, но самый старший и самый продвинутый Сергеев – «Серый» – сказал, что гусары пьют стоя – к чему, непонятно, – что отступать нельзя, и, вообще, у него есть два рубля. «Фиеста продолжается!». Вова – «Сикоряка» – пробурчал, что он пить больше не может, а Кока – черт за язык дернул – заявил, что он может пить, сколько хочет. Слово за слово… В конце концов, дошло до того, что он оповестил всю Кирочную: выпью, зуб даю, «маленькую» на одном дыхании, не останавливаясь. Забились. Серый вынул два рубля, купили «маленькую», пошли на Маяковскую в парадную, в которой жила семья дирижера Дониях, и… Кока спор выиграл, правда, блевал потом всю ночь – родители еле успевали оттаскивать тазики в туалет. Ну а третий раз, наконец, было с девочками.

Уже в десятом классе он пригасил к себе в гости друзей. Родители уехали в Москву к дяде Сереже, и он воспользовался свободой, тем более что квартира опустела: дело было летом, все соседи разъехались, кто куда. Гости – два его друга пришли не одни, а с двумя девочками-девятиклассницами. Тогда пили мамину настойку, смешав ее с водкой, которую принесли его дружки. После водки с настойкой танцевали. А потом… А потом Николенька с одной из девочек – Олей и поцеловался – впервые в жизни. Целоваться Оля явно не умела. У нее были какие-то мягкие, послушные, чуть солоноватые губы, которые она с готовностью подставляла, но никак не отвечала на его действия. Николенька тоже не отличался опытом и мастерством в этом деле. Поэтому получилось как-то неуклюже. Кончик носа у девочки был холодный, хотя в комнате было жарко. Целуясь, она не закрывала глаза, как это делали героини известных фильмов, а смотрела на него не то с удивлением, не то с укоризной. Но не отталкивала, а, наоборот, – прижималась и обнимала за шею. Как бы то ни было, но, всё равно, ему понравилось. Девочка прильнула к нему, и эта близость юного, но уже просыпающегося женского тела,

ощущение его доверчивости, беззащитности, готовности и явного желания отдать себя в его – Николину власть, – всё это привело его в состояние мужского восторга, которое он никогда досель не испытывал. Одно дело читать или фантазировать, другое дело ощущать под своими руками податливые плечи, талию, спину, чувствовать дыхание… даже запах дешевых духов его не раздражал, а манил соблазнами новой взрослой жизни. На радостях Кока и напился. Вернее, напился он не только по собственной инициативе. Ему помог еще и дружок, который остался без девочки. Даник был маленький, но хитрый мальчик. Он сразу просек, что Таня, пришедшая с Сашей Гуреевым от Саши не отстанет – у них был старый роман, а Оля, которую он, собственно, и привел к Коке, явно положила глаз на хозяина квартиры. Решение пришло быстро: уверяя Коку в нерушимости дружбы – за это надо выпить, неотразимости мужской силы – еще по одной, скором успешном окончании школы – ну, здесь по полной, сам Бог велел, – довел Коку до нужной кондиции. Довольно скоро Николенька оказался в туалете в обнимку с унитазом. Целовалась ли Оля с его сообразительным дружком, он так и не узнал, так как больше Олю никогда не видел, а спрашивать дружка было ниже его достоинства. Единственно с кем он поделился, это с Пригожиным – самым умным и воспитанным мальчиком в классе, наверняка, в ближайшем будущем – медалистом. Они тогда сидели на одной парте и делились своими тайнами. Выслушав горестную историю любви, Енот сказал: «Все они такие». – «Кто они?» – «Евреи». – «Какие?» – «Какие, какие… Хитрожопые!».

* * *

– Ну вот, Александр Николаевич, вы все молчите и молчите. Напрасно. Ведь я понять вас хочу. Мое вечное перо закрыто. Запись не ведем, никто нас не слышит.

– Мне нечего сказать.

– Опять вы за свое. Адреса, явки, пароли мне не нужны. Ваш адрес нам известен, как вы уже догадались. Попробуйте мне растолковать, как вы – человек интеллигентный, голубых кровей, потомственный дворянин, как-никак, носитель древней фамилии – и…

– Мне нечего сказать.

– Господи, да выучите вы какую-нибудь другую фразу. Кстати, чаю горячего не хотите? Погодите… Э… Капитан, приготовьте нам пару стаканов чаю с лимоном. Кофе, к сожалению, не могу предложить, любезный Александр Николаевич. Не держим-с.

– Я не голоден.

– Слава Богу! Новое слово от вас услышал. Надеюсь, Вас кормят нормально. Слушайте, за что вы так нас не любите? Нет, я понимаю, нас многие боятся. И любить нас не обязаны. Мы – не девушка. Но я вижу, что вы не просто нас не любите, вы видите в нас врагов. А почему? Ваши близкие, ваши предки, насколько я в курсе дела, не пострадали ни в годы Гражданской, когда ох уж как на вашего брата – на старорежимных – охотились, ни в тридцатых, ни позже. Хотя, поверьте мне – я, как видите, абсолютно откровенен – нам было хорошо известно, кто вы и что вы думаете, и что говорите, и каково ваше окружение. Нарушаю я правила, да никто, авось, не узнает – вы же человек чести, – но скажу, разрабатывали мы вас, но, поверьте, не подлецы и не дураки здесь работают, хотя и таких много, и поэтому решили, оставить вас в покое. Живите, работайте, размножайтесь, так сказать. Извините, конечно. Э… Войдите. Спасибо, капитан. Вы свободы. Угощайтесь, пока не остыл.

– Благодарствую. Не хочу.

– Упрямый вы человек. Да… Так о чем я?.. Не любите… А за что? – Конечно, наворотили наши ребята в свое время много. Но партия осудила и наказала. И вы это прекрасно знаете. Хотите правду? – Я ее долгое время тщательно скрывал, да и сейчас стараюсь не говорить на эту тему. Знаете, кем был мой отец? – Мой отец был старшим майором государственной безопасности, то есть в звании, равнозначном общевойсковому генерал-майору или контр-адми-

ралу. Где он сейчас? – В могиле. А почему он в могиле? – А потому, что расстрелян. Своими же подчиненными и сослуживцами. Вернее, приводили приговор в исполнение не они, но они топили его, показывали против него, размазывали его. И обвинили его в том, что он – троцкист, японский, английский и немецкий шпион. Нелепость самой этой комбинации очевидна. Но и по сути это был бред – страшный бред, потому что мой папа кровь проливал за Советскую власть и к врагам был беспощаден, и честен, и справедлив, и, кстати, зубов подследственным на допросах не выбивал, и не…

– Может, поэтому и расстреляли?

– Может быть, Александр Николаевич, и поэтому, но не к тому веду. Ожесточился ли я? Извините, разгорячился… Да, пейте вы чай!.. А сейчас абсолютно трезво скажу: нет, я не увидел в наших органах своих врагов, хотя, поверьте, своего отца я любил и люблю больше жизни. Люблю и горжусь. А эту сволочь с ромбами или в погонах НКВД, которая его сдавала, ненавижу. Высшая справедливость существует, и большая часть из них расстреляна, но я всё равно их ненавижу. Но не органы. Не власть. Не партию. Кстати, хотите, я назову пару имен тех негодяев, кто на моего отца писал бредовые доносы и, глядя ему в глаза, потом их подтверждал?

– Не интересуюсь.

– А вы уж потерпите. Я же терплю ваше «мне нечего сказать, мне нечего сказать», как баран заладил одно и то же. Извините. Так вот. Фамилии хотя бы двоих были: старший лейтенант государственной безопасности Шульман Григорий Моисеевич и майор государственной безопасности Розовский Семен э… отчества не помню. А бил его – бил ногами в живот, в лицо, до полусмерти – у папы была сломана челюсть, когда его расстреливали, он не мог стоять на ногах, так как ступня была раздроблена – так бил его сержант государственной безопасности Шапиро. Правда, расстреливал Иванов Пантелеймон Сидорович. Да пейте вы чай, лимон пропадает… Вот так, другое дело. Вы же разумный человек. Кстати, вы представитель какой линии «Измайловичей»: Бориса Измайловича, Всеволода, Вячеслава или Владимира?

– Бориса. Но не по прямой линии, касательно, так сказать.

– «Лифляндского». Который, коль не ошибаюсь, в Юрьевском университете профессорствовал…

– А вы знатно подготовились, гражданин следователь.

– Как приятно, наконец, слышать ваш голос. Да, не скрою, я готовился. Это – удовольствие знакомиться с таким знатным, древним родом, с такой фамилией. Трудно, конечно, труднее, чем зубы выбивать, но интереснее и приятнее. Хотя выбивать я тоже умею. Нет, нет, к вам это не относится, у нас с вами беседа по душам, не ухмыляйтесь, не под протокол. Просто понять я хочу, как вы – потомственный дворянин, носитель древней фамилии…

– То есть ваш классовый враг!

– Заметьте: если бы вы перебили другого следователя, то уже давно превратились бы в мычащий кусок кровавого мяса… Хотите еще чаю? Вы правы – классовый враг. Но главное всё же не это, а то, что мы русские люди, и у нас одна Родина, и мы ее любим, любим по-разному, по-своему, но любим, и вы любите, я в этом не сомневаюсь. И мы, несмотря на разницу происхождения, люди одной культуры – Толстого, Чехова, Пушкина. Да и происхождение не такое уж разное. Ваши предки наукой занимались: физической географией в Юрьеве или филологией-славистикой, как самый знаменитый представитель вашей фамилии. Мой же прадед был поп-расстрига, а дед – мелким торговцем чаем. Еще чаю?

– Нет, сыт. Спасибо.

– Пожалуйста. Так что и ваши кровь из народа не пили, и мои не были забитым плебсом. И вы, и мы кормили: вы – духовно, мы – физически – чаёк все любят. А? Так что не враги мы, Александр Николаевич. Не друзья, конечно, но и не враги. И не смотрите вы на меня исподлобья. Так объясните мне, грешному, почему вы, русский человек, неглупый, с корнями…

– Спасибо.

– Пожалуйста. С корнями, уходящими в русскую историю и культуру, вы постоянно защищаете этих сионистов. Причем не простых советских людей еврейской национальности. Это правильно. Мы все – интернационалисты и антисемитизм нам чужд. У меня есть друзья евреи – очень приличные люди: и профессор, и врачи, есть даже лауреат конкурса скрипачей – чудный мальчик. Но сионизм – это наш враг, как враг этих наших друзей-евреев, это попытка расколоть общество, это диверсия: оторвать людей от их почвы, от Родины. И вообще – все эти разговоры об их Боге, об их обычаях – диких, кстати, для нормального человека, об их якобы «избранности», об их четырехтысячной истории – мы знаем ваши высказывания о непобедимости этих еврейчиков, об их геройстве… Постойте, вот, вот тут: в апреле, прямо перед Первым мая, Пасху вы справляли… Да не бойтесь: это ваше право тихо, по-домашнему… Так вот, Пасху вы справляли и говорили, что евреев Героев Советского Союза в процентном отношении больше, чем в других нациях. Да что вы на меня так смотрите! Мы всё знаем, что, когда, где вы говорили. Работа такая. Так дело не в том, так это или не так. А дело в том, что не поленились вы, подсчитали, задумались. Мыслями своими поделились. Пока, правда, в тесном кругу, а потом?.. Не сомневайтесь: зря мы здесь никого не держим. Мы, простите за откровенность, всё знаем, – так, это чья непобедимость? – непобедимость людей, которые, как бараны шли в печи крематориев, которых гнали на убой и никто не кинулся на охрану, не попытался убить хотя бы одного фашиста, даже не крикнул в лицо убийцам слова проклятья, как это делали наши партизаны, – эти жалкие пейсатые – непобедимы? Они и воевать-то толком не умеют!

– Это евреи-то не умеют?

– Шестидневная война не пример. Повезло им с американским оружием и нашими бывшими героями войны – там же генералы почти все нашу школу прошли, начиная с их одноглазого Даяна!

– А слова де Голля вам известны?

– ?

– После Победы генерал, не отличавшийся большой симпатией к этой нации, вынужден был признать, что «синагога дала французскому Сопротивлению больше героев, чем католическая церковь».

– Ну, французы в ту войну отличились особым коллаборационизмом, это известно, не так ли?

– Согласен.

– Слава Богу! Наконец. Во-вторых, же это – исключение.

– А восстание в варшавском гетто, когда почти безоружные парни, женщины, мужчины, старики, студенты-атеисты и ультраортодоксы, вооруженные камнями, палками, несколькими винтовками и пистолетами, притянули самые мощные силы гитлеровцев, уничтожили больше 15 тысяч немцев плюс батальон украинских и латышских эсэсовцев, и более месяца вели невиданное по трагизму, обреченности и героизму сражение, то есть сопротивлялись дольше, чем вся Польша или великая Франция. Девизом этого уникального в истории по трагизму, героизму и обреченности восстания были слова: «*Из нас никто не выживет. Мы хотим спасти честь нации*». – И спасли, заплатив огромную цену: погибли 7 тысяч человек и 6 тысяч сгорели заживо?.. Хорошо, не будем о сегодняшнем, это вас раздражает, гражданин следователь.

– Наоборот, я рад слышать ваш голос. Говорите, говорите…

– А Великая Иудейская война!

– Так уж и Великая!?

– Великая, Великая. Мы плохо представляем, что такое эта Иудейская война. Для сравнения: армия Александра Македонского насчитывала чуть более 30 тысяч воинов, и с этой армией он завоевал полмира и основал огромную Империю. Юлию Цезарю понадобилось 25 тысяч воинов для завоевания Галлии и Британии. Ганнибал имел 50-тысячное войско, с которым он перешел Альпы, чтобы воевать Рим. Теперь сравните: у Тита же было более 80 тысяч

отборного воинства, с которым он осадил Иерусалим. 70 тысяч пехоты, 10 тысяч кавалерии, тысяча осадных орудий, плюс вспомогательные, инженерно-строительные части и пр. А противостояли ему около 23 тысяч иудеев: 10 тысяч воинов под командованием Шимона бен Гиоры, 6 тысяч под командованием Иоханана Гисхальского, 5 тысяч идуменян и две с половинной тысячи зелотов. И долго не решался Тит – при таком-то превосходстве сил – штурмовать крепость, а когда пошел на штурм, потерпел поражение: две недели осадные орудия долбили стены, пробив пролом, пошли в рукопашную и две недели – две недели, вдумайтесь, шла эта рукопашная битва – мясорубка, в результате которой евреи вытеснили из города гордых своей непобедимостью римлян. Только установив абсолютную блокаду, лишив противника пищи и воды и продержав эту блокаду год – целый год, четвертый год страшной войны, держались защитники Иерусалима, – и, главное, воспользовавшись внутренней кровавой распрей между зелотами и фарисеями, а затем между тремя ветвями внутри самих зелотов – «ревнителей», – только тогда смогли войска Тита взять штурмом этот полувымерший от голода город. Естественно, что после четырех лет унизительных поражений, издевательств евреев над римскими штандартами с орлами, победители «отыгрались». Как писал Тацит, римляне превращают в пустыню отвоеванные земли и называют это умиротворением. Тит «умиротворил» Иерусалим, бросая в огонь младенцев, насилуя женщин, швыряя со стен священнослужителей и зелотов, загубив остальных после триумфального шествия в Риме – скормив на арене львам, сбрасывая с Тарпейской скалы и т. д. Типичное умиротворение, применяемое к любому поверженному противнику. А Иудейская война – одна из самых кровопролитных войн Древнего мира. Она соотносима лишь с мировыми войнами двадцатого века, сражение же за Иерусалим – с битвой на Курской дуге. Или восстание Бар-Кохбы, когда 35-тысячная отборная армия лучшего полководца Адриана – Юлия Севера – потерпела унизительное поражение от численно уступавшего ей ополчения Бар-Кохбы. Тогда, естественно, римская машина сокрушала всё на своем пути ради достижения военной победы. И Второй Храм был разрушен Титом, и Север, может, впервые в истории применил тактику «выжженной земли», уничтожая всё на своем пути – людей – от детей до стариков и женщин, – домашний скот, постройки, посевы. Но не сломили всё же нацию. Не уничтожили уникальную цивилизацию.

– Целую лекцию прослушал. Спасибо. Просветили. Эрудированный вы человек… слишком даже…

– А вы – «пейсатые», немцев убоялись… Кого вы оправдываете?

– Да не собираюсь я, упаси Господи, оправдывать гитлеровцев. Но, согласитесь, кому вы отдаете свое сердце. И вообще, все эти ваши разговоры об их Боге, о нашем Боге, о…

– Так Бог, он один, гражданин начальник.

– Хорошо, не перебивайте, о Боге, о Христе, которого, кстати, ваши «избранные и непобедимые» распяли…

– Кто?

– Кто, кто – евреи, конечно.

– Кого?

– Ну что вы дурочку валяете!

– Простите великодушно, но евреи не могли Христа распять.

– Это почему?

– Не было у них такого вида казни. Всю свою историю, как бы вам это ни нравилось, никогда, слышите, никогда евреи никого не распинали и не требовали распять. Наоборот. Евреи выступали против распятия римлянами христиан. Вспомните, хотя вы, наверное, не читали, «Деяния Апостолов» – там, где рабби Гамлиэль – фарисейский, кстати, раввин, осуждает преследования христиан Римом.

– Эко, какой вы горячий. Умный вы человек, интересный…

– Или Иосифа Флавия – именно фарисеи, рискуя жизнью, восстали против бессмысленного убийства брата Иисуса – Иакова. А вы – «Христа распяли»… Это безграмотные бабки на базаре или пьянь у ларька талдычит: «евреи Христа распяли». Камнями побить могли, даже до смерти. Но распинали на кресте только римляне. Это их изобретение. Вспомните роман Джованьоли! Кто Спартака распял? – Евреи? И кто одежду Иисуса в карты разыгрывал – евреи? Не-е – римские легионеры, евреи же рыдали вокруг распятого – почитайте Евангелия. И вообще, очень сомнительно, что евреи хоть как-то, хоть косвенно повинны в смерти Иисуса. Об этом даже официально в Ватикане объявили.

– Это когда? Что-то я об этом не читал…

– Несколько лет назад, в 62-м, кажется…

– Интересно, какое вы радио слушаете: Би-би-си или «Свободу»?

– Я слушаю программу «Время».

– Ну, конечно. Там о Втором Ватиканском Соборе каждый день сообщают.

– Об этом весь мир знает.

– О, вы, как я вижу, человек осведомленный.

– Но это не меняет сути. Иудеи Христа не распинали! Это и протестанты и католики признали. Даже прощения просили у «братьев своих старших».

– Вот это вы точно заметили: протестанты и католики. А православные иерархи? Вы ведь православный человек? – Ну вот, видите! Это хорошо, что вы не юлите, не петляете. Мужественный вы человек! И всё больше мне нравитесь. Так Православие, к которому вы принадлежите – по совести и вере, а не по принуждению или традиции, – Православие никакого прощения не просило и называет иудеев не «старшими братьями», а «синедрионом демонов». И на Страстную неделю во всех православных храмах проклинается «сонмище богоубийц». Юдофобство – один из краеугольных камней Православия. Не так, ли, любезнейший Александр Николаевич? Но что самое поразительное – особенно в моих устах – в устах полковника КГБ – ваши церковные иерархи в общем-то правы. Защищая основы веры, в том числе и с ее откровенным замесом антииудаизма, они защищают русскую самобытность, национальную целостность, ограждая наш народ от чуждых ценностей и пагубных влияний. Так что в чем-то мы – чекисты и православные служители – делаем одно дело, подходим с разных сторон к важнейшей патриотической…

– Гражданин следователь, кажется, что вряд ли здесь самое подходящее место для богословских дискуссий.

– Вы правы. Очень хочется надеяться, что мы продолжим эту занимательнейшую беседу в другом, более располагающем к откровенности месте. Я же лишь констатирую: вы не только против нас, вы – против ваших же духовных наставников…

– Гражданин следователь, и наставники – разные, и иерархи – разные, и Православие – неоднородно. Да и священство – на разных берегах: одни с 19-го года по тюрьмам, лагерям и другим узилищам мыкаются, не говоря уже о расстрелянных или потопленных, другие же, действительно, вы правы, шагают вместе с вами, под вашу команду. Истина же одна – не распинали иудеи Иисуса, и не кричали – не могли кричать: «распни Его!».

– Ну, хорошо, это я оговорился. А Иуда – тоже римлянин? А первосвященники – что, древние греки? И кто Пилата обломал? – Хохлы? А «распни Его, распни», хорошо: не «распни» – «убей Его!» – кто кричал – армяшки? Я, дружок мой, тоже книги читал. Нами же и запрещенные! И радио, вам, конечно, неведомое, слушаю: и «Голос Америки», и Анатолия Максимовича Гольдберга… Вы, естественно, это имя никогда не слышали… Да не бледнейте вы. Не собираюсь я вас по этой теме раскалывать. Слушаете, так и слушайте на здоровье это вранье. Меня больше интересуют другое… Вернемся… Чай небось остыл… Так о чем это мы толкуем? Да… Евреи, евреи, Александр Николаевич, Иисуса на крест, на мученья послали. Это – факт, так сказать…

– Гражданин следователь, вы сказали – «не под протокол», «разговор по душам»?

– Ну конечно, я вам свою душу раскрыл, а вы всё темните. Только вот сейчас, слава Богу, разговорились…

– Я знаю, что здесь вопросы задаете только вы.

– Правильно знаете. Но сейчас – не допрос.

– И я могу вас спросить?

– Валяйте, Александр, свет, Николаевич!

– Вы – коммунист?

– Естественно, я – член партии. А как это соотносится с темой нашей беседы?

– Сейчас отвечу. Стало быть, вы – атеист?

– Естественно.

– Стало быть, Бога нет?

– Ну, прямо – «Золотой теленок».

– И сына Божьего нет?

– Нет, и не было. Ни Бога, ни Сына, ни дяди его. Наши космонавты всё небо обследовали – ничего, пустенько! К чему вы это всё?

– К тому, гражданин следователь, – получается интересно. Христа не было – ведь так? А евреи его распяли, пусть не распяли, но послали на смерть? – Как такое может быть – предать смерти того, кого не было? Не вы первый: многие не верят, что Иисус существовал, но все убеждены, что евреи его распяли…

– Да… Вы – интересный человек. Мне говорили, что вы умный, интересный человек… Интересный человек. Опасный… Заходи. Уведи арестованного. Одну секундочку, Александр Николаевич, одну секунду. Вы – умный человек, это – точно. Только ум у вас какой-то странный. Однобокий ум-то. Меня хорошо подловили. Один – ноль. Ценю и поздравляю. Но вот сообразить, что у вас есть семья, вы не смогли. Сын Коленька, кажется? В какой школе? – не отвечайте, я знаю, у меня записано. И жена у вас – Наталья. Тата, как вы ее зовете дома. Верно ведь? Такая высокая шатенка, грудь большая, мечта мужчин… Жаль… Интересный вы дядя… Уводи.

Блядь. Сука. Пидор… Алло! Алло! Алёушки! Серегин, привет. Кострюшкин на проводе. Как делишки, как детишки? Что? Да ты никак уже бухой. А… отгулы. Завтра выходишь? Молоток. Слушай, тут у тебя в «Четверке» новый сидит. Точно… Точно… Так ты скажи своим, пусть его прессанут. Не-е, не по полной… совсем калечить не надо. Да… и чтобы на всю жизнь. Без следов, как всегда. Пока. Оттягивайся. Татьяну целуй…

Урод! Ур-роды, все, блядь, уроды…

* * *

Витёк в тот день получал аванс, поэтому Толян ждал его с особым нетерпением. Очень оттопыриться надо было.

* * *

«… Молитесь, пани, за Вашего доблестного мужа. Геройски он в город вошел, геройски и погиб. Вся его рота простилась с миром и предстала перед Господом с чистой душой. Ваш же супруг, по-моему, в начале октября отошел. Не запятнал он себя ничем, и воины его не уронили чести своей. А голод был страшный. Еще в сентябре побили кошек и собак, и воронье, и всякую другую живность, поели коренья и траву, пока снегом не покрыло землю эту проклятую. Кто-то запасся догадливо – тем поначалу полегчение вышло. У пана же Неверовского – мужа Вашего – запасов никаких не было, поэтому он и его солдаты первыми ушли

в мир иной, не успели они грехом великим покрыть головы свои. /Коммент.: Роты хорунжего (? проверить звание) Неверовского первыми вошли в Кремль и заняли там оборону. Солдаты Неверовского двигались в походном порядке, налегке, без запасов еды, денег и зимнего обмундирования, рассчитывая на скорую поддержку войск, посланных Сигизмундом Ш. Все подчиненные Неверовского и сам командир погибли, прежде всего, от голода. – И. В./ *А позор пал на всю рать, хотя и позором это не назовешь, потому что на все предложения сдаться ответствовали с гордостью – "Нет и нет, И спасет нас наш Король, слава Сигизмунду!" А писал нам в сентябре дни 17-го сам князь их Пожарский. Сам читал, потому что, как Вы знаете, толмачом был и переводил: "Полковникам Стравинскому и Будзиле и всему рыцарству, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле, князь Пожарский челом бьет! Ведомо нам, что вы, будучи в городе в осаде, голод безмерный и нужду великую терпите, ожидаючи со дня на день своей гибели. И нече вам за неправду души христианские губити, голод и нужды терпеть, и присылайте гонцов не мешкая, тем сберечь головы ваши и животы ваши в целости, и возьму грех на душу свою и отпущу безо всякой зацепки в свои земли, кто захочет, а которые государю московскому службу служить задумает, тех жаловать будем по-достоинству". Не долго думали полковники и казачьи атаманы со старшинами. Полковник Йосиф Будзила и Трокский конюший Эразм Стравинский от ротмистров, порутчиков и рыцарства отписали: "Мать наша – отчизна, дала нам в руки рыцарское ремесло, научила нас, чтобы мы прежде всего боялись Бога, а за тем имели к нашему Государю и Отчизне верность, были честными, и в каких бы землях ни был кто-либо из нас военных, чтобы всегда действовал так, чтобы мать наша никогда не была огорчена его делами, а напротив, чтобы приобретала бессмертную славу от расширения ее границ и устрашения всякого из ее врагов…"* /Коммент.: Мозырский хорунжий Иосиф Будзило (Будило) – скорее белорус, то есть русский или украинец, живший на территории современной Белорусской ССР, нежели поляк, – с сентября 1607 года находился на службе у Лжедмитрия Второго – «Тушинского вора». В январе 1612 г. перешел в подчинение к Сигизмунду III, во главе отряда которого вошел в Москву в сентябре 1612 года. Вплоть да середины декабря того же года держал осаду в Кремле. Известен, прежде всего, своими воспоминаниями. См.: «Дневник событий, относящихся к Смутному времени (1603–1613 гг.), известный под именем Истории ложного Димитрия (Historya Dmitra falszy wego)». «Русская историческая библиотека. Т. 1. СПб. 1872». 7 ноября 1612 года под честное слово сохранить жизнь и «содержать в чести» сдался на милость победителей. Перешедшим «под руку» кн. Пожарского действительно сохранили жизнь, разместив пленных по казематам крепостей Нижнего Новгорода, Балахны, Ярославля, Унжи и др. В «таборах» Трубецкого ограбили и перебили почти всех пленных. Самого Будзилу *«того же года 26 декабря, в самый день Рождества Христова привезли в Нижний Новгород. Вместо того, чтобы держать их в чести, как присягали бояре, их посадили в избу [съезжую], а слуг засадили в тюрьму, и всех их намерены были ночью перетопить, но княгиня – боярыня, мать вышеупомянутого Пожарского упросила хлопство, чтобы имели уважение к присяге и службе ее сына. (…) Того же года 31 декабря, накануне нового года, хлопы – Нижегородцы засадили г. Будила со всеми его людьми в каменную тюрьму, очень темную и смрадную, в которой они сидели 19 недель».* «Русская ист. библ.», там же. – И. В./ «*Ответствовали с достоинством и без лести и не сдались. За это Господь снимет хоть малую толику греха с душ наших. Жили, как воины, и ушли из суетного мира с достоинством, не сдаваясь врагам нашим. А грех велик был. Ибо, когда совсем невмоготу стало, начали людей побивать и с тем питаться. Девок гулящих, что к воинству пристали, первых поели. Я сам не видел, но, говорят, всех этих заблудших побили. Потом свершили совсем богопротивное дело. Рыцарству не подобает пленных позорить и безвинно смерти предавать. Но полковники решили иначе – Бог им судия. Они приказали отпустить на волю полоненных русских – тех, кого в Кремле с оружием взяли в бою или с оказией, с тем, чтобы их ловили, забивали и ели, а что не ели сами, то продавали. Голову можно было купить*

за 2–3 злотых, а конечности – с ног или рук – по 1–2 злотых. Забивали, однако, не всех, а только простых людишек, бояр ихних не трогали, и жен их не трогали, потом жен отпустили с миром под честное слово князя Пожарского не позорить их. А челядь боярскую, кто ненароком на улицу или по нужде какой выйдет, ловили. Часто забивали впрок, так как не знали, сколько времени подмоги от Короля ждать надо будет. Слуг своих тоже забивали, а иногда и товарищей. У меня свояк был – он из-под Кракова, муж Ваш его уважал за храбрость в бою, так он совсем слаб стал, и убили его, когда я на стене в карауле стоял. Я нашел только его обрубки». /Коммент.: Как писал С. Соловьев, «после молебна («у Лобного места, где Троицкий архимандрит Дионисий начал служить молебен»), войско и народ двинулись в Кремль, и здесь печаль сменила радость, когда увидали, в каком положении озлобленные иноверцы оставили церкви: везде нечистоты, образа рассечены, глаза вывернуты, престолы ободраны; в чанах приготовлена страшная пища – человеческие трупы!». Действительно, людоедство приняло массовый характер и было, видимо, поощряемо высшим командованием. Так, Иосиф Будзило свидетельствовал: *«Пехотный порутчик Трусковский съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою мать; один товарищ съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца не щадил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого мог, кто был здоровее другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал такового, судились, как о наследстве и доказывали, что его съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому другому. Такое судное дело случилось в взводе г. Леницкого, у которого гайдуки съели умершего гайдука их взвода. Родственник покойника – гайдук из другого десятка жаловался на это перед ротмистром и доказывал, что он имел больше права съесть его, как родственник; а те возражали, что они имели на это ближайшее право, потому что он был с ними в одном ряду, строю и десятке. Ротмистр… не знал, какой сделать приговор и, опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места. Во время этого страшного голода появились разные болезни, и такие страшные случаи смерти, что нельзя было смотреть без плачу и ужасу на умирающего человека».* – «Русская ист. библ.», там же. Что же касается отпущенных под честное слово кн. Пожарского боярских жен, то следует отметить: вышедших в расположение дружин Пожарского женщин встретили с достоинством: «Пожарский велел сказать им, чтобы выпускали жён без страха, и сам пошел принимать их, принял всех честно и каждую проводил к своему приятелю, приказавши всем их довольствовать». – См.: Соловьев С. М. «История России с древнейших времен», СПб., 1896, т. 8, с. 791, 821. Попавших же в расположение войска под командованием Трубецкого – прежде всего казачьих дружин – предали грабежам и бесчестиям. – И. В./ «*Матерь Божья, за что весь этот ужас! Я не смог есть человеческое мясо. Попробовал, но такие боли начались, всё обратно вышло с кровью и зеленью дьявольской. Молите Иисуса за то, что взял к себе Вашего мужа, нашего доблестного Полковника, не введя его в соблазн. Кат надо мной трудился знатно, у меня рука левая от его усердий усохла, но никакие муки не сравнимы с голодом. Что не видели глаза мои?! И землю под собой пожирали, и конечности свои пытались грызти, и камень и кирпич пытались кусать, кто ума лишился от голода и скорби. Но доблестно стояли до последней капли, до последней мочи, и не предали Короля своего, и Королевича младого, и Веру нашу и честь воинскую. Не приведи Господь испытать… Однако закончу сие горестное повествование благодарностью Господу, Иисусу, нашему Спасителю, за дарование нам жизни нашей и коленопреклонно испрошу у него прощения за грехи наши тяжкие…»* /Перевод и комментарии асп. Ирины Владзиевской под руководством докт. ист. наук, проф. С. Б. Окунева/.

* * *

Может, потому, что дрался он редко, но остервенело, может, потому, что всегда был справедлив и не гнулся перед старшими пацанами и не забижал малышей, а может, потому, что рос

после ареста родителей сам по себе – присмотр старой подслеповатой и сильно пьющей бабки не считался, – плюс потому, что был умен, начитан, остроумен, а может, потому, что было в нем нечто такое, что делает из неприметного белобрысенького парнишки лидера, – не важно, почему, но годам к двенадцати стал он признанным авторитетом среди своих сверстников, плотно державших в напряжении весь район Лиговки – от Московского вокзала до Растанной.

Много лет спустя, под старость, он с удовольствием и даже с гордостью вспоминал то время. Во-первых, потому, что всегда умел держать удар, не теряя самообладания и сохраняя улыбку на лице: поначалу улыбочка была вымученной, но постепенно приросла, стала естественной, именно она, возможно, пугала, настораживала или, во всяком случае, озадачивала его врагов, конкурентов, сослуживцев и даже друзей. Во-вторых, он никогда, а точнее, почти никогда не отрекался от своих близких и не предавал их. Когда «Карабас-Барабас» пришел неожиданно к нему ночью и, вынув из модного драпового пальто бутылку «Арарата», и спешно опустошая ее в одиночестве, стал уговаривать его публично отречься от родителей, потому что иначе он не будет зачислен в институт даже при всех пятерках: его «срежут» на экзамене по истории или по литературе, так как это – «раз плюнуть», – он набычился, и в ответ только мотал головой, не отрывая взгляда от грязных стоптанных ботинок «Карабаса», никак не соответствовавших его модному манто и шикарному темно-вишневому кашне. Так и ушел друг их семьи ни с чем, пошатываясь и безнадежно отмахиваясь рукой, непонятно от чего или кого. Значительно позже, как ни странно, это вспомнилось и зачлось… Однако это было через много лет, и в том далеком и страшном году уж никак не прогнозировалось. В-третьих, он всегда в жизни руководствовался принципами, и, если эти принципы входили в противоречие с его личными устремлениями, привязанностями, связями или чувствами, то он преступал через себя, принося в жертву этим принципам самое дорогое для него и любимое им… В подобной принципиальности не было ничего показного или надуманного. Он искренне был убежден в бесспорной истинности такой жизненной позиции, и они – и эта позиция, и ее абсолютная искренность радовали его, переполняли гордостью, возвышали его в собственных глазах и в глазах других, создавали уникальную и прочную репутацию и, в конце концов, благоприятно сказались в самых, казалось бы, непредвиденных ситуациях. Впрочем, это всё проявилось и дало результаты значительно позже, а тогда, в юности, приносило только страдания, никому не ведомые, и никем не замечаемые. В десятом классе, когда на комсомольском собрании исключали из школы и комсомола человека, в которого он был влюблен, он не мог, а вернее, не захотел встать и сказать хотя бы слово в защиту, он заставил себя поднять руку «за» и не потому, что боялся быть не со всеми, и не потому, что вообще боялся – нет, он действительно не был трусом, – он заставил себя сделать это именно потому, что считал, решение, предложенное райкомом комсомола, единственно правильным, справедливым и принципиальным. После того собрания во сне к нему пришла та старушка из подвального помещения, вернее, не та, а другая, со сморщенным лицом и слезящимися глазами. Она положила свою теплую и сухую ладонь ему на лоб и ласково сказала: «Коленька – Николенька». И в ту ночь он плакал, зарывшись в подушки и скомканное одеяло. Это было второй и последний раз в его жизни.

* * *

Пригожинские слова запали глубоко. Настолько глубоко, что на каникулах Николенька стал писать сочинение на «вольную тему», как и было задано, взяв эпиграфом слова своего дружка: *«Все они такие» – «Какие?» – «Хитрые».* (Пригожин). – Без инициалов – что за Пригожин, какой Пригожин – пусть думают…

Писал он долго. Первая проблема: как назвать свой труд: назвать впрямую было глупо – прочитав первоначальное название, Литераторша может захлопнуть тетрадь навсегда, во избежание… После долгих размышлений он озаглавил так: ***«Николаевский мундир**. (Император-*

ский Указ от 26 августа 1827 г.)» После первого абзаца он дал цитату из Тургенева. Имя классика, при всей злободневности пассажа, не могло не привлечь Анну Ивановну, которая не скрывала свою особую любовь к Тургеневу и Льву Толстому. Ну, а прочесть аналогию с днем сегодняшним она и не догадается, и не осмелится… Наверное… «Попахивает конъюнктурой» – рецензировал себя Кока, но, ничего, это – к месту и, главное, играет на главную мысль. Получилось очень даже неплохо:

«Николай Павлович имел отменную осанку. Пронзительный взгляд и идеально подкрученные усы давались ему без труда. Однако, дабы грудь была колесом и стать величественной, он был затянут в такой тесный мундир или корсет под мундиром, что к концу дня он терял порой сознание. Искренне желая благополучия и процветания всем своим подданным, он и страну затянул в такой же корсет – вдохнуть и выдохнуть было невозможно. Как писал И. С. Тургенев, "Крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, темная туча висит над всем ученым и литературным ведомством, шипят и расползаются доносы, страх и приниженность сидят во всех". Императором владело убеждение, что добро в России можно делать только силой, и полицейско-жандармская палка принесет народам России процветание и благо скорее и надежнее, нежели просвещение, свобода и нравственные добродетели. Именно таким небрежением и к мысли, и к чувствам, и ко всем человеческим нормам, именно такой «военной палкой» вознамерился личный цензор Пушкина решить еврейский вопрос в России». Здесь Анна Ивановна наверняка сделает «стойку», – она была интеллигентным, умным, терпимым, – но – советским учителем, и Николенька к середине десятого класса уже научился понимать, что над всеми эмоциями в его стране безраздельно властвует страх, и это его не коробило, не отталкивало, не возмущало, это была данность, к которой он постепенно старался привыкать. Поэтому не столько для успеха своего сочинения (но и для этого тоже: уже тогда у него начала проклевываться профессиональная забота о дальнейшей судьбе своих – впоследствии научных работ), сколько из-за желания облегчить жизнь Литераторше, в следующем абзаце он вставил цитату из Герцена, непонятно от какого сна «разбуженного декабристами» (В. И. Ленин):

«Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки (…)

– Кого и куда вы ведете?

– И не спрашивайте, индо сердце надрывается(…) Набрали ораву жиденят восьми-девятилетнего возраста. Сначала было их велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Беда, да и только, треть осталась на дороге (и офицер показал пальцем в землю). Половина не доедет до назначения, – прибавил он – мрут, как мухи…

(…)Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал – бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати еще кое-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких толстых солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, без, ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И притом заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну а если бы попался военно-политический эконом?!

Я взял офицера за руку и, сказав: "поберегите их", бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь». (А. И. Герцен. «Былое и думы».)

Дальше было труднее. Собственно, о реакции Анны Ивановны и судьбе сочинения он уже не думал – улетучилось само собой. Надо было найти особый язык, особый стиль, интонацию, тот неповторимый прием, который смог бы задеть за живое любого, даже недоброжела-

тельного читателя. Написать сильнее Герцена или Лескова (рассказ «Владычный суд» потряс Николеньку) было невозможно. Да и оригинальных материалов было немного. С другой стороны, он понимал: то, что не могло не ошеломить в девятнадцатом веке, сегодня – после ужаса Холокоста – кажется обыденным и не таким уж страшным. Впрочем, Кока и не задавался целью кого-то напугать. Ему нужно было лишь прокомментировать убеждение, что «все они хитрожопые».

Озарило неожиданно ночью. Вообще, умные мысли и верные решения, удачные фразы или отдельные слова, как правило, приходили к нему ночью, иногда даже во сне. Вся проблема состояла в том, чтобы к утру не забыть, не «потерять находку», что удавалось крайне редко, поэтому он стал оставлять на табуретке около кровати листок бумаги и карандаш; со временем это стало привычкой на всю жизнь. Неразрешимой оставалась задача проснуться и заставить себя зажечь свет… В ту ночь он заставил и накарябал: «как будто я». То есть писать, как бы от первого лица, будто это всё происходило с ним. Утром после здравого размышления он пришел к выводу, что этот прием – ставить себя на место собеседника или изучаемого героя – здесь не работает, хотя впоследствии он стал главенствующим и характерным как для его поведения, так и для сугубо научных изысканий. Вообразить себя еврейским ребенком он не мог, ибо понятия не имел ни о законах, обрядах, ритуалах иудаизма, ни об особенностях быта в местечках, ни о том, что такое тфилин, молитвенник, цицит, которые отбирают у еврейского мальчика и тут же сжигают. Да и что такое Закон Божий, он представлял весьма смутно. Николай Первый писал в конфиденциальной записке: «Главная выгода от рекрутирования евреев в том, что оно наиболее действенно склоняет их к перемене вероисповедания». Что такое *принудительное крещение?..*

Тогда он принял «соломоново» решение: писать так, как будто дело происходит с его хорошими знакомыми – с Гутей, скажем, – добродушным, отзывчивым парнем, готовым ради друзей пожертвовать сказочной соломенной шевелюрой или подвергнуться экзекуции с битьем о голову любимой пластинки, – или Даником, страдающим, конечно, хитрожопостью, но, всё же старинным приятелем – незлобным, веселым, щедрым. Тогда будут оправданы все пробелы в его знании чуждых быта, нравов, атрибутики: рассказ ведет человек другого мира, но, вместе с тем, интонация будет окрашена индивидуальной теплой краской.

Для начала он попытался представить себе, а затем и описать, что чувствовали бы реальные хорошо знакомые, близкие люди в дороге, на этом страшном пути в неизвестность, которая для трети детей заканчивалась «в Могилеве» – в могиле (до конца учения и перехода в солдатский статус доживал один из десяти малышей). Часто детей гнали не менее года: путь из местечек Белоруссии, Бессарабии, Украины до Сибири, Поволжья, Архангельской губернии, то есть до мест, наиболее отдаленных от черты оседлости, был долог. Вот – Даник и Гутя, покрытые коростой, вши кишат на теле, в волосах, в одежде, от плохой пищи – постоянная рвота и кровавый понос, солдаты отнимают последние гроши и пропивают их, когда их ведут по еврейским местечкам, конвой начинает их бить, чтобы жалостливые жиды «милостивили» их, одаривая подношениями… Вот – солдаты-инвалиды выкапывают яму и сбрасывают трупики – часто за недельный переход умирало 30–40 кантонистов, – солдат спрыгивает в яму и ногами утрамбовывает тела, чтобы больше поместилось. Могли быть среди них Гутя и Даник? – Почему нет! – Оставшиеся в живых завидовали мертвым. Один из выживших кантонистов вспоминал – это было первое документальное свидетельство, найденное Кокой: «*Жаловаться было некому. Командир батальона… был Бог и царь. Многих детей калечили – случайно или преднамеренно, а когда приезжал инспектор, изувеченных кантонистов – по сто – двести человек – прятали на чердаках и в конюшнях. Пьяные дядьки выбирали себе порой красивых мальчиков, развращали их и заражали сифилисом.* (Что это значит, Кока понял позже.) *К битью сводилось все учение солдатское. И дядьки старались. Встаешь – бьют, учишься – бьют, обедаешь – бьют, спать ложишься – бьют».* «*Больных и обессилевших везли на телегах,* – вспоминал

другой очевидец, – *возле Нижнего Новгорода я встретил целый обоз еврейских ребятишек, сваленных в кучи на телегах, вроде того, как возят в Петербург телят…»* Вообразить всё это было невыносимо трудно. Описать – невозможно. Выбранный метод здесь не работал, получалось искусственно, вымученно, неестественно. По-настоящему впечатляли скупые, подчас малограмотные свидетельства.

То же – с родителями. Участи кантониста страшились более смерти ребенка: смерть скоротечна, мучения кантониста бессрочны. Вот – Берта Соломоновна и Филипп Арнольдович бегут вслед за телегой многие километры, как бежали тысячи и тысячи матерей, чтобы в последний раз взглянуть на своего мальчика. И это – было. Прощались навсегда. «Забривание» лба было страшнее смерти. *«В городе Чигирине,* – это вспоминал чиновник военного ведомства – *привезен был мальчик лет девяти или десяти, полненький, розовый, очень красивый. Когда мать узнала, что он принят, то опрометью побежала к реке и бросилась в прорубь».* Всё делали обезумевшие от горя родители: женили десяти – одиннадцатилетних мальчиков на сверстницах – не помогало, выкалывали один глаз – это могло спасти, отрубали палец: «*В местечке появился какой-то еврей,* – вспоминал очевидец, – *и за сравнительно небольшое вознаграждение брался отрубать большой палец правой руки… Была лютая зима, и мою руку положили в корыто с ледяной водой. Через некоторое время рука была настолько заморожена, что я перестал ее чувствовать. Ловким ударом ножа мой палец почти безболезненно отделили от руки, и подобную операцию провели над ста с лишком мальчиками…»* Очевидцу тогда было шесть лет.

За членовредительство кагал должен был «расплачиваться» штрафниками – по два мальчика за одного провинившегося.

Десять дней писал свое сочинение Николенька. Не просто писал – он заболел им. Иногда мама будила его по ночам, потому что он вскрикивал и плакал. Вспомнить, что он видел во сне, Кока не мог, но то, что было страшно, знал. В конце концов, он окончательно решил, что свой метод он оставит до лучших времен, надо научиться писать сухо, сжато, просто.

…Постоянный ужас вошел в каждую семью «черты оседлости» после 26 августа 1827 года, когда Николай I подписал указ: «Повелеваем обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в натуре». Кантонисты существовали с 1805 года, и жизнь их с жесточайшей муштрой и полнейшим бесправием была хуже любой каторги – во всяком случае, на каторге смерть не косила так беспощадно, как в кантонистских школах: «кантонисты тают, как свечи», – жаловался граф Аракчеев. В кантонисты записывали детей солдат, раскольников, цыган и детей польских повстанцев; евреи же, которые не могли совмещать все жесточайшие правила культа и традиций с военной службой, наравне с купцами и мещанами, выплачивали рекрутский налог. 27-й год стал роковым: стали брать еврейских мальчиков до 12 лет (чтобы не сумели пройти в 13 лет бар-мицву), причем квота была втрое большей, нежели у христиан – 10 рекрутов с тысячи мужчин ежегодно, против 7-ми с тысячи раз в два года. Во время Крымской войны набор среди евреев проводился дважды в год, и брали по 30 рекрутов с одной тысячи лиц мужского пола.

В рекруты сдавали, прежде всего, самых беззащитных, слабых, маленьких: детей вдов – в обход закона об «единственных сыновьях», – сирот, детей бедняков; как отмечал Лесков, часто 7–8-летних мальчиков записывали, как 12-летних, и лета приводимого определялись «наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми “присяжными разысканиями”, которые всегда были еще обманчивее». Часто этих или украденных хапперами мальчиков зачисляли в рекруты за счет детей из богатых семей. Коррупция, кумовство, произвол старшин кагалов и стоявших над ними становых приставов были неотъемлемой частью нравов николаевской России. За время правления Николая Первого в школы кантонистов было набрано более 70 тысяч детей от восьми до двенадцати лет.

Между 1827 и 1914 годами в русской армии служило около 2 миллионов евреев.

Время, проведенное в школе кантонистов, то есть с 8 до 18 лет в срок действительной службы не засчитывалось. Выжившие кантонисты в 18 лет переводились в рядовые русской армии, где служили 25 лет. Эти, так называемые «Николаевские солдаты» отличались суровым нравом и физической силой в повседневной жизни, особой стойкостью, отчаянной храбростью во время военных действий, прежде всего во время Крымской или Балканской кампаний. Русский хирург Н.И. Пирогов отмечал невероятную терпеливость и мужество солдат-евреев, раненных во время Крымской кампании.

Из 70 тысяч евреев в армии николаевского периода (50 тысяч – из кантонистов) перешло в христианство 25 тысяч (из преобладающего гражданского населения крестилось всего 5 тысяч). Принуждение к «перемене вероисповедания» было краеугольным камнем армейской реформы Николая.

…Собственно, эти цифры особенно поразили Николеньку. Из 70 тысяч – **только** 25 крестилось. Причем большая часть выкрестов по окончании службы возвращалась «в лоно иудаизма», несмотря на жестокие наказания, следовавшие за «отпадение от Православия» (правда, уже не сжигали, как при Анне Иоанновне, а «только» сажали в крепость). Какую же силу духа имели эти десятки тысяч маленьких жидочков, не сломленных, замордованных, но не отступивших от веры отцов! Вот это было за пределами понимания, представления, фантазии. Что двигало ими, что давало поистине нечеловеческие силы этим детям, часто 8–12 лет? – Природное упорство, тысячелетиями выработанный инстинкт выживания нации, всепобеждающая ненависть к мучителям? Или, может, во сне и наяву преследовали их лица матерей, бежавших за телегами, падающих в грязь, снег, поднимавшихся, цепляясь за колеса, и опять бежавших многие километры со словами: «Сохрани веру свою», «Помни имя свое», «Сохрани веру», «Помни имя свое»…

…За отказ перейти в христианство детей окунали до обмороков, потери слуха в ледяную воду, секли вымоченными в соленой воде розгами: «*Ефрейтор хватает за голову, быстро окунает в воду раз десять – пятнадцать подряд: мальчик захлебывается, мечется, старается вырваться из рук, а ему кричат: «Крестись – освобожу!» Подавали щи на свином сале. «Жид, отчего щей не ешь?» – кричит ефрейтор. «Не могу, пахнет свининой». «А, так ты таков! Стань-ка на колени перед иконой». И держали полтора часа подряд на коленях, а потом давали пятнадцать – двадцать розог по голому телу… «Баня» была страшней: «Нас пригнали из Кронштадта целую партию, загнали в тесную комнату, начали бить без всякой милости. Потом нас загоняли в жарко натопленную баню, поддавали пару и с розгами стояли над нами, принуждая креститься, так что после этого никто не мог выдержать… Густой пар повалил из каменки, застилая все перед глазами. Пот лил ручьем, тело мое горело, я буквально задыхался и потому бросился вниз. Но этот случай был предусмотрен. У последней скамьи выстроились рядовые с пучками розог в руках и зорко следили за нами. Чуть кто попытается сбежать вниз или просто скатывается кубарем, его начинают сечь до тех пор, пока он, окровавленный, с воплем бросится назад на верхний полок, избегая этих страшных розог, резавших распаренное тело как бритва… Кругом пар, крики, вопли, стоны, экзекуция, кровь льется, голые дети скатываются вниз головами, а внизу секут без пощады. Это был ад кромешный. Только и слышишь охрипшие крики: «Поддавай, поддавай, жарь, жарь их больше! Что, согласны, собачьи дети?». Невыносимая тяжесть принуждения усугублялась еще и тем, что льготы при крещении и все последующие привилегии были значительны и весьма соблазнительны, и каждый мальчик знал, что свое «слово царь держит»: при крещении прекращались издевательства, новообращенный получал 25 рублей, а это была большая сумма – за 3–4 рубля можно было купить хорошую корову, кантонисту-христианину полагалось улучшенное питание, после пяти лет «карантина» карьера еврея в армии была успешной, нередки были случаи, когда выкресты получали личное дворянство…*

И – всё равно – только 25 тысяч из 70-ти… Это поражало, восхищало и окончательно разбивало утверждение одноклассника, вынесенное в эпиграф.

Справедливости ради, Кока отметил, что по выходе «по чистой» в 43–44 года бывшие кантонисты, не зависимо от вероисповедания, получали пенсию в размере 40 рублей, что давало возможность безбедно существовать, они могли жить во всех районах Империи, так как на них не распространялся закон о «черте оседлости». Так как большая часть выживших детей обладала невероятной выносливостью и сообразительностью, их отправляли учиться в школы писарей, оружейников, телеграфистов, фельдшеров, мастеров порохового и оружейного дела, так что они были не только интеллектуально-технической «жилкой» унтер-офицерства, но получали хорошую профессию по демобилизации. Выкресты из кантонистов выслуживались до надворных или коллежских советников (т. е. приравнивались к званию полковника или подполковника).

Объективный Кока не мог не отметить, что наибольшим зверством по отношению к детям отличались «дядьки»-выкресты. Их называли «истребителями жидов». Смертность в подразделениях, которыми командовали эти евреи, была повальной. Как заявлял один из самых известных садистов Иван Хмельницкий (ранее Хаим Зильберман), «*пока он будет жив, ни один не выйдет из его батальона евреем»,* – и он держал слово: живыми из его батальона некрещеные еврейские дети не выходили. Да и «хаперсы» – ловцы детей, также, как и «мосеры», то есть те, кто доносил властям об укрывшихся жиденятах, – естественно, были стопроцентные евреи, их ненавидели особенно: когда в дом врывались ночью и силой выхватывали из рук матерей кричащих детей не мучители – иноверцы, а такие же евреи – с пейсами, в лапсердаках, с цицитами, это понять и, тем более, простить было невозможно. Николеньку, впрочем, это не удивляло, он знал – дядя Ося, сосед по лестнице как-то говорил, что евреи дали столько отпетых негодяев, что даже «гоям не снилось». «Одни сталинские пытари, все эти Родосы, Бергманы, Шварцманы, Пинзуры, Шейнины и “прочая сволочь”, – чего стоят!» Об этом, конечно, он не писал.

Сразу после каникул Кока сдал свое сочинение.

Обычно через семь – десять дней Анна Ивановна раздавала проверенные работы, и проходило их обсуждение, которое всем очень нравилось. Даже классные «пофигисты» с нетерпением ждали этого развлечения, где можно было поржать всласть. Сначала Литераторша зачитывала фрагменты из лучших работ. Что скрывать, как правило, первым «цитировался» Николай С.; все привыкли, что Кока – «известный гуманитарий и лингвист», это – семейная традиция, поэтому ему не завидовали, а принимали как должное. Затем Анна Ивановна анализировала общие проблемы, основные грамматические ошибки, показательно разбирала типичные трудности. Затем, на сладкое, она зачитывала «перлы». До этого момента всё обсуждение проходило с оглашением фамилий авторов, «перлы» же звучали анонимно: Анна Ивановна была человеком старой закалки, то есть деликатным, и щадила самолюбие своих «птенцов». Лучший «перл» выбирался всеобщим открытым голосованием – смехом. Поначалу пару раз заглядывала встревоженная директриса, но потом и она привыкла. Чемпионом «перлизма» становился тот «пассаж», который вызывал самый громкий и продолжительный смех.

В восьмом классе чемпионом был такой «перл»: «Татьяна Ларина не дождалась Онегина и женилась на генерале. Потом она купила малиновый берет и пошла на бал. Там в берете она опять полюбила Онегина». Литераторша еле дочитала, давясь от смеха. В девятом – шедевром было признано откровение Пулата Бархударова – он сам радостно закричал, вскочив с места, когда зачитали под громовой хохот его «перл»: «Это – я, это я, я писал ЭТО!!!»… «ЭТО» звучало так: «Андрей Болконский лежал и смотрел наверх. Там было аустерлицкое небо на котором был виден маленький наполеон который смотрел вниз и был неприятный». Анна Ивановна смогла лишь выдавить: «Наполеон пишется с заглавной буквы… и запятыми не пахнет». Ну а в десятом два «перла» разделили первое место, и оба – про В. И. Ленина. Первый опо-

вестил: «Чтобы поддержать революционеров, Владимир Ильич Ленин стал торговать газетами “Искра”». – «На каком это углу?» – поинтересовалась Анна Ивановна. Второй: «Потом Ленин устал и захотел поехать домой, но в него кто-то выстрелил. Когда все разбежались, нашли только слепую старушку, которую здесь же расстреляли». – После этого сообщения никто не смеялся. Но, как решил Николенька, там, где надо, сочинителя вычислили, отметили и запомнили.

На сей раз разбора полетов не было ни через неделю, ни через две. Когда кто-то спросил, а как сочинения, Анна Ивановна, глядя в окно, лишь сказал: «Работы хорошие, ошибок, как ни странно, меньше, отметки вы найдете в дневнике. На носу аттестат зрелости, займемся делом» Впервые она не отдала на руки сочинения, о чем Кока впоследствии жалел. В дневнике он нашел оценку «5» и мелким почерком: «Подряд (2-я стр.) три родительных падежа! И не увлекайся деепричастными оборотами».

«Это она у меня криминал нашла и затихарила», – с гордостью и тайным восторгом сообщил Пригожин. – «Какой?» – поинтересовался Николенька. «Я о Королеве писал!» – «Ну и..?» – «Так он же сидел!» – «Об этом все знают. Он сидел и Туполев, и Глушко. Тогда все сидели». – «Но я же об этом написал!» – выпученные глаза Пригожи светились изумлением от своего дерзкого свободомыслия, горели радостью борца и праведника. Кока не спорил. Он был благодарен ему за идею.

* * *

Приснился Насте батон с изюмом. Такой свежий, ароматный. Самое интересное, что перед сном она плотно поела – попробовала, что Алена своему охламону приготовила. Поэтому была сыта, а батон всё равно приснился. Алена в детстве любила из таких батонов изюм выковыривать. Родители ее ругали, иногда даже по рукам били – не больно, но звонко, однако ничего не помогало. Насте тоже хотелось залезть указательным пальцем в мягкую теплую массу и достать изюмину. В доме иногда, когда приходила посылка от папы из Ленинабада или Кушки, бывал изюм, но из батона – в разы вкуснее. К сожалению, Настя этого сделать не могла, так как была значительно старше. Сестра с ней делилась – молча вкладывала в раскрытую ладошку заветную изюмину, и это Настя никогда не забывала. Потом ей приснился папа. Он сидел на старой табуретке, сцепив руки за спиной, чуть раскачивался и говорил кому-то: «Зря время тратите, зря время тратите, зря время тратите…». Потом Настя проснулась, сходила в туалет, в виде ведра, стоявшего около входной двери, заглянула в Аленину комнатку, кровать была застелена.

«Значит, урывает свое счастье!» – подумала она и окончательно проснулась.

Она любила свою сестру. Собственно, всю свою жизнь она отдала ей и не жалела об этом, ибо Алена была ей и сестрой, и дочкой, и подругой.

* * *

Дорогой мой Николенька!

Давно не получал от тебя весточку, но надеюсь, что ты здоров и Господь хранит тебя. Как ты учишься? Роман не завел? Это – дело нужное, так что не стесняйся, я благословляю. Как Тата? Увы, я знаю, что с ней произошло. Дай Бог ей сил и мужества перенести эти жуткие испытания. Ты будь к ней повнимательнее, чаще разговаривай, рассказывай о своих делах, о друзьях, о чем угодно. Это ее отвлечет, развлечет. Впрочем, ты – умный, хороший мальчик, вернее – уже юноша, почти мужчина. Всевышний дал

тебе величайшее богатство – твоих родителей. Как ты понимаешь, я за свою долгую, бурную жизнь повидал огромное количество людей – людей разных: и хороших, и плохих. Хороших – больше. Кстати, в этом мы с твоим папой до поры до времени сходились во взглядах. Сейчас, после случившегося, он, конечно, ожесточился, изверился. Это естественно, ибо такое количество подлости, жестокости, несправедливости и невежества, которое обрушилось на него, нормальному человеку не вынести. Это – благодать Господня, что он оказался таким сильным человеком. Не сломался, не согнулся, не помутился умом. Так вот, я повидал множество разных людей, не просто повидал, но узнал, услышал их, сжился с ними… И должен тебе сказать, мой любимый мальчик, что таких светлых личностей, как твои мама и папа, я не встречал. Когда я думаю о них, то всегда с радостью еще и еще раз утверждаюсь в непреложной истине (хотя никогда в ней и не сомневался!): по образу и подобию Божию создан человек и путеводная звезда его – любовь, вспомни Первое послание к Коринфянам:

«Но теперь пребывают вера, надежда, любовь, эти три, но большая из них любовь»! Ты уж прости старика за «опиум для народа», письмо я передаю с верным человеком, так что, думаю, чужим глазам оно не попадется.

О себе скажу: слава Богу, всё хорошо, всё по-прежнему. Я здоров, несмотря на свой возраст, работаю в кочегарке, здесь тепло – к старости стал стынуть, а здесь кости не ноют, хлад, засевший внутри, отпускает. Главное же – в этом огнедышащем и, в то же время, черном пространстве, я ощущаю себя, как в катакомбе, хотя распространенное убеждение о том, что римские катакомбы служили убежищем для христиан, не совсем верно: римские власти слишком хорошо знали «географию» этих подземных лабиринтов, и прятаться там не имело особого смысла. Исключения бывали, но, как правило?.. Да и молиться христиане там не могли. Семьи часто посещали усопших, особенно в годовщину их смерти, так что особенно в первые столетия Новой Христовой Эры специальных помещений для собрания значительного количества верующих там и не было. Однако образ этот – катакомбы и, следовательно, катакомбная церковь – как единственное убежище от сервильного сергианства – образ понятный и распространенный в моей среде. Посему я его и употребил, как синоним изолированности и защищенности – мнимой, хрупкой, призрачной, но хоть какой-то! – от враждебного мне мира внешнего. Хотя, скажу тебе, Кока, совершенно откровенно, самые сладкие мгновения моей жизни – это, когда я выхожу на свет Божий: снег под ногами хрустит, легкие радуются от встречи с морозным свежим синим воздухом, щеки оживают, походка, чувствую, пританцовывает, как лет пятьдесят назад, и есть от чего – школьники, так же, как и гимназисты когда-то, играют в снежки – пару раз и мне залепили, дамочки с продовольственными сумками поспешают, девушки – очаровательные, кстати, попадаются – улыбаются, – «Москва златоглавая…». Колоколов, правда, нет. Жизнь, Кока, идет, ее не убили и не убьют. Живи счастливо, мой дружок.

Чего мне истинно не хватает, так это тебя, твоего папы, Таты – грешно вспомнить, но любил я ее, ее все любили, нельзя было ее не любить, не восхищаться ею, не боготворить ее – твою маму. Не хватает чекушки, которую я выпивал «собственноручно», не хватает паровозика, который я тебе когда-то подарил – ты еще помнишь? Странно, тогда мы нашу жизнь поругивали, подсмеивались над ней, но это было, пожалуй, самое лучшее время, если не

считать, конечно, старой настоящей жизни, которую ты знать не мог, да и я застал лишь в раннем детстве.

Ну да ладно. Поворчал, поскулил, как кладбищенский пес на луну. Самое главное: пересылаю тебе письмо от твоего папы. Я его получил от верного человека, который месяц назад освободился. Папа ему доверял, и он производит самое хорошее впечатление – видимо, из старообрядцев или украинской автокефальной. Очень прошу тебя, Кока, мой родной, как прочитаешь, уничтожь и мое, и папино письмо. Береженого и Бог бережет.

Будь здоров, мой мальчик, будь счастлив. Надеюсь, скоро тебя увидеть и обнять. Береги маму, заклинаю, береги ее!

Христос с тобой! Твой С. А. («Батюшка»).

Дорогой Сережа, Батюшка ты мой!

Во-первы́х строках – я в порядке. Валю деревья, как заправский профессионал, научился вялить пойманную рыбу, есть сырую оленину – очень полезная штука – если поймаешь как-нибудь на Арбате или Сретенке оленя, напиши мне, я дам рецепт, как его свежевать, как кровь пустить, как солить. Кровь пустить – великое искусство. По этому поводу вспоминал тебя (я тебя всё время помню, вспоминать не надо!), вернее, наш извечный спор – размышления. Помнишь, беседы о «чае с молоком и колбасе»? Я помню дословно, очень часто проговариваю наши диалоги и за себя, и за тебя, нахожу дополнительные доводы для нас обоих. О чем жалею, так это о том, что не выпивал тогда с тобой рюмку-другую. Нет, я здесь пить не стал, хотя пару раз мне вливали, почти насильно, спирт – тем и спасли: один раз, когда я провалился под лед – слава Господу, в тот день потеплело, и было всего 10 градусов мороза, при 30–35 градусах никакой спирт бы не помог. Другой раз – когда узнал про Тату – ты знаешь: я каялся, и ты простил мне тот грех, ту слабость, которая больше не поразит меня. Если уж раньше не наложил на себя руки, то теперь ничто не достанет меня. Еще пару раз я выпил на проводах: у меня здесь образовалось два близких человека – один из них – московский студент, любитель послушать голоса из-за бугра – ушел в мир иной, другой – тот старик, который передаст тебе это письмо – украинская автокефальная церковь – на свободу. Но всё равно, пить я не приучился, организм не радуется.

Так вот, о колбасе с сыром. В наших диалогах, которые разгораются во мне в любое время – и во время лесоповала, и во время перекуров – я здесь начал курить – хорошо помогает: отгоняет голод и комаров, – и во время шмонов (правду говоря, шмонают нас редко, неохотно и слабосильно: часто ленятся под матрац заглянуть, совсем обленились, сволочи) и во время сна – сплю плохо, вернее засыпаю как убитый, а часа в три проснусь и не уснуть – лежу, думаю, жизнь вспоминаю – знаю, что делать этого нельзя, но не могу себя заставить, хотя и правда: старожилы, то есть те, кто имеют не первую ходку, говорят, что надо обо всем, что на «Большой земле», забыть, не думать о семье, о детях, о жене, а жить только сегодняшним днем – как закосить умело, как пропитаньем лишним разжиться; правда, это относится больше к лагерю, а не к поселению. Так вот о сыре с колбасой (с удовольствием съел бы бутерброд с маслом и сыром, особенно швейцарским!). В том нашем далеком споре я бы на твоем месте привел еще один не убиенный аргумент. Помнишь, в тот день, когда ты подарил Николеньке пожарную машину, разговор зашел о «нелепом», на мой тогда непросвещенный взгляд, Законе «не есть мертвечину». Тогда я, по своей серости, говорил чушь, но как ты – знаток – не обрезал меня, не понимаю. Не об извращенных наклонностях же шла речь, естественно, даже не об удобстве или практической пользе, речь шла об этике, как основе бытия и сознания. Мертвечина это то, что умерло в страданиях. Непричинение боли – основа основ Мишны и Гемары. И что самое поразительное – именно здесь, на краю земли, в Богом забытом селении я познал и не просто познал, а столкнулся в ежедневной практике, в быту с этим Законом – Божьим словом. Ты уж прости меня – пишу коряво – отучился систематизированно излагать свои хао-

тичные мысли. «Местные» (о «сидельцах» не говорю, это, как правило, интеллигентные люди), понятия не имеющие о самом существовании народа, тысячелетия назад сначала устно – из поколения в поколения – передававшие, а затем, во времена вавилонского полона, записавшие эти Заветы, полученные Авраамом от Господа, – эти люди, слов даже таких не слышавшие, поступают точно так же, как поступали наши прародители в песках Синая четыре тысячи лет тому назад. Точный чистый удар идеально отточенного ножа в сонную артерию и яремную вену вызывают мгновенную и безболезненную смерть и облегчают сцеживание крови. Такой способ обеспечивает библейский завет не употреблять кровь в пищу или питье, но главное – гуманен по отношению и к братьям нашим меньшим, и к нам самим. И удивительно объединение – через тысячелетие – жизненных принципов иудеев и язычников – коренные жители о христианстве знают понаслышке и поклоняются своим малопонятным мне божкам, и еще поразительнее нравы цивилизованного христианского общества: в Европе, в Америке, о России уж не говорю, убивали и убивают и топором, и палкой, и ломом – сам видел, и пулей – куда попало, и руками. Помнишь, может быть, «Джунгли» Синклера – а это почти сегодня – 20-е годы нашего века. Да что Синклер! Ты бывал на наших скотобойнях сегодня, на мясокомбинате, но не только в Питере или Москве, хотя и там кошмар творится, – а на окраине? Такого ужаса я и не представлял. Особенно, когда коров – этих несчастных, глупых, конечно, но добрых, беспомощных кормилиц наших – живых! – представляешь, живых, но обезножевших, то есть, у кого нога сломана, у кого просто сил подняться нет, этих коров, мычащих, нет – кричащих – от ужаса, боли, безысходности, – опрокидывая на спину, – их бульдозерами, знаешь, такими с двумя «зубьями» спереди для подъема груза… Они пытаются вскочить на ноги, они пытаются остаться в живых, они кричат о помощи, а их бульдозерами… Лучше не вспоминать. Один раз видел, потом с сердцем плохо было, даже в медчасть отправили. И это – не только в нашей людоедской стране, это – во всем «цивилизованном» мире.

Четыре тысячи лет назад люди в состоянии дикости, окруженные враждебным миром, непознанными напастями, жгучими песками, гибнущие от болезней, голода, невежества – эти люди были в разы милосерднее, а стало быть, мудрее поколений, живущих на вершине цивилизации.

Так что, приезжай, научу «кошерному» забою оленя (не дай Бог!).

Теперь о главном. О нашей истории, о принципах понимания которой ты так хорошо написал. Вообще, ты стал настоящим философом, а точнее – историофилософом. Жаль, что твои мысли никогда не увидят свет, на нашем веку, во всяком случае.

Итак, по поводу «самозванства» и убиенных родственников.

Впрочем, подожди. Я сейчас схожу отметиться и потом продолжу.

* * *

Объяснить, почему она решила стать историком, Ира толком не могла, хотя и честно старалась, особенно отбивая атаки своих родичей. Мама, побушевав пару дней, довольно быстро успокоилась, хотя по инерции бурчала: «тоже, нашла себе безработную профессию. В лучшем случае, будешь нищей училкой в школе». В пылу баталий первых дней, когда Ира заявила, что будет готовиться к поступлению на истфак, а это произошло в середине девятого класса, мама даже стала развивать идею о том, что нет ничего лучше профессии музыканта – с Ириным абсолютным слухом (откуда мама взяла про абсолютный слух, так и осталось загадкой), с подготовкой – почти десять лет платили частным педагогам, – с ее – маминими связями – здесь брови ЛеоНика взлетели до «самого не могу», – она – Ириша – запросто поступит в музыкальное училище, или, в крайнем случае, в Музпед, а там, гляди, и в Консерваторию. Ира смотрела в тарелку с гречневой кашей и пыталась сохранять индифферентное выражение лица. Далее мама выдала вдохновенную импровизацию о прелестях этой профессии: слава, поклонники,

цветы, деньги, – но ЛеоНик так выразительно на нее посмотрел, что она вмиг смолкла и более к этой теме не возвращалась. С мамой было проще, с ЛеоНиком – в разы сложнее.

Отчим говорил спокойно, обстоятельно, аргументированно. Его мало волновали перспективы трудоустройства, трудности поступления, престиж или возможная зарплата. То, что его так насторожило в ее выборе, как ни странно, Ире было понятно. А насторожила ЛеоНика сама профессия: с ее – Ириным – характером и в наших условиях, то есть в наше время и в нашей стране, заниматься историей, особенно отечественной – самоубийство. Сформулировал он это просто и кратко: «Перепевать избитые истины ты не станешь, тебе обязательно надо будет докопаться до истины, истины эти, как правило, в прокрустово ложе официальной истории не укладываются, следовательно, общение – мало приятное – с Министерством Любви неминуемо». – «А это что?» – Ира никогда с этим эвфемизмом не сталкивалась. ЛеоНик посмотрел на неё в упор и постучал костяшками пальцев правой руки по столу – тук-тук-тук. – «Поняла, не дура». – «Потому, что не дура, и нельзя тебе соваться ни в философию, ни, упаси Боже, в литературу, ни, тем более, в историю России. Учишься ты отлично, в математике и физике соображаешь, вот и дуй на какой-нибудь естественный факультет. Или в медицину, ты девушка решительная, сильная, крови не боишься, да и память у тебя отличная – анатомию осилишь…» – «И это говорите мне вы – коммунист?!» – попыталась мило съязвить Ира, но ЛеоНик на легкий тон не пошел, но отрезал – пожалуй, впервые резко и кратко – набычившись, рыкнул: «Коммунист коммунисту рознь. И не тебе об этом судить». – Однако тут же быстро взял себя в руки и перешел на повседневный, то есть ровный, но убедительный тон: «Спокойно обдумай. Я зря слова на ветер не бросаю. И никогда тебе ничего плохого не делал и не желал. Честно заниматься историей у нас тебе не дадут, а лепить горбатого ты не сможешь. Я сделаю всё, чтобы тебе помочь, так же как и всё, чтобы тебя предостеречь». – Тогда Ира, конечно, поняла благие намерения своего отчима и, более того, почувствовала в его словах изрядную долю истины – она уже становилась девушкой чуткой к «атмосферному давлению» эпохи, но истинный смысл утверждения ЛеоНика, его свинцовую тяжесть и безмерную глубину постигла значительно позже.

…Интерес к истории родился, скорее всего, в кино. Вернее, от фильма, который в первый раз ее поразил, восхитил и… озадачил. Поразил настолько, что при первой возможности она пошла смотреть еще раз, потом еще… Это был «Александр Невский»: и Черкасов – ее «старый знакомый» по Комарово – хорош, и музыка гениальная, и Ледовое побоище снято и смонтировано виртуозно – Эйзенштейн! Ира любила кино и понимала в нем толк. Однако уже при втором просмотре что-то стало царапать. В общем, это была ерунда: фразка «Коротка кольчужка-то», призванная стать столь же узнаваемой, как подобная крылатая реплика «Муля, не нервируй меня» из симпатичного и легкого «Подкидыша» или «Забодай меня комар» из удручающе бездарных «Трактористов», – эта «репризка» Игната никак не вязалась с общим строем фильма. Да и не нужна была подобная зацепка, застревающая занозой в сознании, порой вытаскивающая популярность фильма и остающаяся одним-единственным запоминающимся его эпизодом (в «Трактористах» Ира ничего, кроме этого «комара», не запомнила). – «Александр Невский» и так пользовался всенародной любовью. Бодливый «комар» потянул при последующем просмотре цепочку новых недоумений. В третий раз она смотрела фильм глазами историка – желторотого, безграмотного, беспомощного – *пробуждающегося*, но историка, а не киномана. Речи, произносимые Александром, постепенно стали казаться клише с газетных передовиц: богачи – чуть ли не приспешники завоевателей (хотя, конечно, можно было догадаться, что многие новгородские купцы стремились стать равноправными участниками Ганзейского союза, но не бесправными данниками Орды – это понимание пришло к Ире позже), а простой народ – единственная надёжа князя: для бедняка он, оказывается, – друг и учитель, почти как товарищ Сталин. Да и сам склад речи, язык абсолютно положительного Черкасова казался какой-то смесью надуманной архаики с агитпропом, но не языковой вязью

князя тринадцатого века. Дальше – больше. Было странно, что ни перед битвой, ни при звуках перезвонов Новгородских храмов, ни при каких других обстоятельствах Александр Невский не осеняет себя крестным знамением. Ира тогда, естественно, понятия не имела, что князь канонизирован, как благоверный, но не как праведник, она не подозревала о наличии разницы между этими двумя видами канонизации, – это значительно позже, вспоминая свое детское увлечение фильмом Эйзенштейна и уже зная про жестокость, коллаборационизм, вероломство и прочие особенности личности и правления Александра Ярославича, она понимала, что канонизировать князя как праведника было невозможно, все преступления его искупались (но не оправдывались в сознании православного мира) непоколебимостью в отстаивании истинной веры. Тогда же – в девятом классе – она, не вдумываясь в смысл, усвоила: князь Невский – святой. «Святой Александр Невский», Александро-Невская лавра, «мощи» Александра – то есть останки усопшего христианского святого – эти связки стали привычными даже в советский воинственно-атеистический век. «Святой», а не крестится… Запахло ложью. И вообще: Новгород XIII века – и ни намека на купола соборов, церквушек, звонниц… Опять-таки, значительно позже, в аспирантуре, погрузившись в проблемы Смуты, задумалась она, откуда берутся истоки такой прочной многолетней – три столетия! – дружбы русичей с норманнами – шведами, на какой исторический фундамент опирается помощь русским ополчениям, оказываемая войсками под командованием шведского полководца Делагарди (точнее, де ла Гарди) в кровавой неразберихе Смуты, в освобождении Москвы от поляков, приглашенных туда теми же русскими. Значительно позже узнала она о том, что именно с Биргером, которого Александр победил (якобы) при легендарной Невской битве, тем же Александром Невским был заключен договор о предоставлении ему убежища в случае бегства из России, и у того же Биргера скрывался от ханского преследования брат Александра – Ондрей. Через много лет она докопалась до масштабов – весьма невеликих, истинных причин и подлинном значении так называемого «Ледового побоища» и радостно удивилась своей детской прозорливости, своему рано проснувшемуся чутью на фальшь, даже в такой талантливой упаковке замечательного режиссера, великого композитора, потрясающего оператора и неплохих артистов. Тогда же – в аспирантуре наткнулась она на высказывание Николая Первого о Невской битве и, вообще, о победах Александра Невского: «*Сие есть ложь. Но это наша первая великая победа*» и убедилась, что «душитель свобод» в России был прав: вся победная деятельность князя Новгородского, великого князя Киевского и Владимирского есть, в лучшем случае, мифотворчество. Многое она узнала позже, но именно тогда, в девятом классе, возникло у нее непреодолимое желание докопаться до истины, стереть фальшь, даже гениально преподнесенную, как в фильме Эйзенштейна, ложь, накипью покрывшую российскую историческую науку…

ЛеоНик свое обещание выполнил. После нескольких убедительных, но бесполезных бесед с Ирой tête-à-tête, как-то во время семейного воскресного обеда с водочкой, маринованной корюшкой, жареным гусем и мочеными яблоками (такие редкие праздничные обеды обычно готовил сам отчим) в ответ на вновь пробудившийся активный интерес мамы к будущему своей дочки, он с шумом положил свою весомую ладонь на стол так, что мама вздрогнула, Ира повеселела, но рассольник, налитый в тарелки по самый верх, расплескался, и произнес – отвесил: «Так, всё, раз она хочет быть историком – будет. Теперь надо думать, как помочь. В недельный срок узнайте, кто из университетских репетиторов самый лучший специалист по истории, литературе, что там еще, не знаю, я в этой области профан. Я всё оплачу. Девочка должна добиться своего».

Ира добилась. Этот разговор с ЛеоНиком, как, впрочем, и все предыдущие, она не забыла. Свою первую опубликованную статью в престижнейшем журнале «Вопросы истории» она посвятила Леониду Николаевичу Синцову – «Моему лучшему другу и главному учителю жизни».

* * *

«***Тогда взял Пилат Иисуса и подверг бичеванию. И воины, сплетя венец из терния, возложили Ему на голову, и в одеяние пурпурное облачили Его, и подходили к Нему и говорили: да здравствует Царь Иудейский! И били Его по лицу. И снова вышел Пилат наружу и говорит им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я никакой вины не нахожу в Нем. Вышел тогда Иисус в терновом венце и пурпурном одеянии. И говорит им Пилат: вот Человек***». (Ин. 19, 1–5). – Что здесь может быть недочитано, что непонятно, что предполагает разночтения? – Даже Иоанн, отражавший в своих «Страстях» возросшую по сравнению с первыми «Евангелиями» антиеврейскую ауру раннехристианского мира, недвусмысленно подчеркивает: «***Итак, когорта и трибун и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его»***… Воины – римляне… Неужели Иоанн Златоуст не читал… Да нет, это бред. Иоанн Хризостом («Золотые уста») – не только Вселенский Святитель – один из трех, великий проповедник, но и личность эрудированнейшая, отличавшаяся небывалой духовной цельностью и, главное, честностью, мужеством в преданности своим идеалам… не мог он не знать этого – «когорта и трибун»… И что самое важное: не мог же не задуматься над словами евангелиста: «***Один же из них, Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы не знаете ничего, и не разумеете, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, а не весь народ погиб***» (Ин. 11, 49–50). И пророчествовал Каиафа: «***предстояло Иисусу умереть за свой народ***» (Ин. 11, 51). В словах этих виден Каиафа – политик, прагматик, а не архиерей, не хранитель моисеевых Законов. И это – грех превеликий. Но! – будучи орудием Божественного Промысла, он не мог избежать своей участи, как, впрочем, и Иуда, оставшись в памяти потомков, виновником гибели Спасителя. В то же время, не мог не помышлять о судьбе своего народа, пастырем которого он был тем же Божественным Провидением поставлен. Спасти народ свой путем гибели Иисуса. Умереть во искупление грехов своего народа? – Бесспорно. Но не только: и спасая его от реальной угрозы. Какой угрозы? – Отпадения от веры предков? – Вряд ли: закат Ветхозаветной эпохи **до** Страстей Христовых еще не прослеживался столь ясно, как **после**, Учение Иисуса **еще** не выходило за пределы узкого круга учеников Его, осознание начала Эры Нового Завета **не могло** прийти к Каиафе, первосвященникам, книжникам и старейшинам. Значит, угроза была извне. Народу погибнуть или одному Иисусу – пострадать за народ – от кого? От римлян и только от римлян. Постоянно мощь Империи нависала над Иудеей и Израилем, так же, как только потомки Моисея и Давида являли собой ощутимую непреходящую и, как оказалось позже, непреодолимую угрозу для Рима. Двум цивилизациям было не разойтись, при всем взаимном уважении и взаимотерпимости, которые, впрочем, имели свои границы. К тому же пятый Префект Рима Понтий Пилат сделал всё возможное, чтобы спровоцировать раскол иудейского общества, своей жестокостью, жадностью и коррумпированностью довести подвластную провинцию до перманентного состояния ненависти и страха. Рим в глазах иудея ассоциировался с Игемоном, и опасность, нависшая над нацией, государством, была не призрачной – она осязалась ежедневно. Так что, римляне – первопричина гибели Христа, и они есть исполнители… Здесь – еще одна странность, еще одна загадка. Они называют его «Царем». Издевка, конечно. Моральная пытка, так сказать, вдобавок к физическим – к терновому венцу – какая же это боль! Так Иоанн доносит слова и дела римских воинов – каких же еще! Да и Марк детализирует: «***Воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию. И созывают всю когорту и одевают его в пурпур, и, сплетя терновый венец, надевают на Него. И начали приветствовать Его: да здравствует Царь Иудейский! И били Его тростью по голове, и плевали на Него и, опускаясь на колени, поклонялись Ему. Когда же надругались над Ним, сняли с Него пурпур и одели Его в одежды Его***». (Мк. 15, 16–20). – ЗАЧЕМ? – Устоялось: после истязаний Учитель мог вызвать

сострадание иудеев, собравшихся у претории. Оплеванный, избитый, то есть жалкий – не мог он походить на Царя, представлявшего угрозу Великому Кесарю, и, по этой версии, Пилат тем самым выводил Его от повторного наказания. Жалким Иисус не выглядел, но, наоборот, через и сквозь унижение проявляется Его величие и торжество. Но главное: не могли эти действа – избиение тростью, оплевывание, облачение в багряницу, возложение тернового венца, обращение «Царь Иудейский», то есть надругательство над царским достоинством Его – «Сына Давидова» – **вне** глаз иудеев, «внутри двора» – не могли эти действа хоть как-то повлиять на настроение толпы – не ведомы они были ей, не видимы. Да и не нуждался Понтий в этом спектакле, как оправдании своих намерений пощадить Иешуа. Обладавшему совершеннейшей военной машиной, ему было достаточно приподнять бровь, и от толпы ничего не осталось бы. Да и вид казни – распятие – был действительно позорным, здесь богословы правы, – но **только** в глазах Рима, **не** иудеев. Так что сие толкование, хоть и традиционно, но ложно. Тогда где причина не только жестокого, но никому не нужного беспричинного издевательства – а на то, что это издевательство – *«надругательство»*, – без обиняков указывает Евангелист, воспроизводя рассказ своего учителя и непосредственного участника Страстей Христовых – апостола Петра?

Сознание человека конца страшного XX века, бесспорно, не может смоделировать мировосприятие, принципы мышления и поведения префекта или простого римского воина. Однако нет сомнения, не могли делать это легионеры, незачем им было. Для римлянина распять какого-то еврея – дело плевое и будничное. Рутина. Издеваться над ним, унижать и мучить – зачем? Одно дело – наказать бунтовщика. Когда надо было, рука не дрогнула; сирийский наместник, к примеру, Квинтилий Вар распял в момент две тысячи евреев во время беспорядков, возникших после смерти Ирода Великого. Деловито, буднично, без издевательств или личной озлобленности. Но этот галилеянин не был бунтовщиком, не был опасен для реалий имперского быта Рима. Он им – римлянам – ничего не сделал, если принимать евангелическую трактовку событий. **Если Он был передан в руки римлян по настоянию Синедриона и, в целом, иудеев как лжепророк, римляне надругаться над Ним не могли!** Он был им в худшем случае безразличен. Надо было знать римскую ментальность и особенности взаимоотношений между иудейским и латинским мирами. Римляне всегда, вплоть до Адриана, отличались терпимостью ко всему, что не затрагивало их реальную политическую власть. Это – не греки, не эллинизированные интеллектуалы Александрии, зараженные болезненным и враждебным интересом ко всему еврейству. Римляне – прагматики. Им не было никакого дела до всех этих свар фарисеев, саддукеев, ессеев… Прокуратору и его военной бюрократии вообще было неразумно влезать в хитросплетения чуждого, непознаваемого мира. Но главное – к иудаизму в римской элите относились традиционно с уважением, вниманием и порой с восхищением. Иерусалим и Рим в одинаковой степени – до поры до времени – ценили и уважали силу, стойкость и убежденность друг друга. Не случайно евреи никогда не сражались против Рима под чужими знаменами. Именно иудейская община поддержала Юлия Цезаря в гражданской войне 49-го года, за что он осыпал ее милостями и льготами. Август пошел дальше в своем благоволении к представителям тогда уже мощной италийской диаспоры: он даже воздерживался от распределения зерна евреям по субботам. При Клавдии вообще наступило благоденствие в римско-иудейском мире. Даже Тиберий, особенно после казни своего юдофобствующего министра Сеяна, проявлял доброжелательство и раскаяние, вернув тысячу ссыльных еврейских семей из Сардинии. Да, Тит разрушил Второй Храм. Величайшая трагедия для еврейства. Но для сына Веспасиана – это лишь военная практическая необходимость, не более. Он всю жизнь благоволил к еврейству, привечая Иосифа Флавия и любя иудейку Беренику – дочь Ирода Агриппы Первого… Римляне при всей своей веротерпимости пресекали малейшую угрозу своей религии, отторгали любое минимальное проявление неуважения к Юпитеру и императорскому культу и абсолютно не привыкли к противоборству, к кон-

куренции с другими верованиями. Они избаловались беспрекословным подчинением в этом вопросе, давая взамен все другие льготы. Все инаковерующие в огромной Империи без проблем выполняли необременительные внешние требования даже не веры, а этикета. Но евреи были из другого теста. Приспособиться к чужому и чуждому культу они не могли и не хотели, их Бог никогда никаких компромиссов не принимал, и эту бескомпромиссность они оплачивали миллионами жизней на протяжении тысячелетий. И Рим пошел им навстречу! – Уникальная ситуация в истории Империи: до торжества христианства только иудаизм был официально признан единственно свободной религией наряду с культом Императора – Юпитера. Хотя… хотя, естественно, такие привилегии раздражали. Интеллектуалов – тот особый имперский статус, который имели иудеи; простой народ – торговые успехи, бытовая отчужденность, необычность нравов. Но всё равно, наверняка, легионеры, стоявшие в Иерусалиме в тот год, не были подвержены антиеврейским настроениям в александрийском понимании. Они были служаками. Не более того. В евреях могли видеть своих врагов, к которым они испытывали уважение. Тогда у римлян было определенное военное рыцарство, и они ценили мужество, упорство и военную цепкость даже своих врагов. Но Иешуа и врагом не был. Зачем им было устраивать этот спектакль? Не кровожадны они были – они добросовестно исполняли долг. **Если** они **выполняли «заказ»** Синедриона и первосвященников, **издевательств быть не могло**. Не кровожадны они были, но… **трусливы**. Это в природе человечества – от сотворения мира до сего дня – неистребимое желание показать и доказать свою лояльность власти в наивысшей степени… Он назвал себя «Царем!». Не от мира сего его царство, свидетельствует Иоанн, но он – Иисус – царь. Это – преступление. Ибо римский император – Царь и Бог! Власть Цезаря божественна, стало быть, некто, претендующий на эту власть, потенциальный узурпатор. За это казнили не одну сотню римлян – патрициев и плебс, тысячи варваров всех мастей. Заявив перед очами Пилата – наместника Тиберия, что он отвергает царство этого Тиберия – неважно, земное или небесное, – Иисус обрек себя. И надругательство над Ним – спектакль, который невозможен без зрителя. И зрителем был не народ иудейский, а Рим в лице каждого центуриона, в лице трибуна, в лице префекта, которого через пару столетий стали называть прокуратором. Кто знает, чей донос первым положат на стол Тиберию. Здесь шутки были неуместны, так же, как и нерасторопность, безынициативность, неубедительность в выявлении своих верноподданнических чувств. Не заказ Синедриона выполняли они, а «**заказ» Пилата**, ревниво соблюдавшего «Закон об оскорблении чести и величия Императора»… Хотя, и это странно: если бы и хотели ткнуть носом, то назвали бы с издевкой его Императором или Прокуратором – это им ближе, понятнее. Царь же Иудейский – для римлян пустой звук…

Впрочем, это – вторично, а первично и определяющее всё остальное: как могло случиться, что они нарушили в один миг все неприкосновенные и незыблемые тысячелетиями законы и традиции?

* * *

– Ну, ты, бля, даешь. Как это не выдали? Охуели вы там, что ли?
– Да не привезли, братан. Сказали, завтра с утра будут давать.
– Так нам сегодня палец сосать что ли?
– Ёпт, придумаем что-то, Толян.
– Придумаем, придумаем. Замочил бы тебя в сортире, козел. Пошел ты…

* * *

Владимир Сократович был человеком одиноким и нелюдимым. Друзей у него не было, да и не могло быть: дружбы без открытости и откровенности, по его твердому убеждению,

быть не могло, а о какой доверительности и даже элементарной искренности можно было говорить при его роде деятельности. Семьи у него уже давно не было. Не было даже собаки или кошки – ухаживать за ними он бы не мог. Поэтому на службу он приходил рано, чуть ли не к семи утра, без особой на то надобности, невзирая на промозглость, слякотность, унылую серость ленинградского утра, а именно такое утро было доминантой его восприятия неродного и, в общем-то, чуждого города; по той же причине и задерживался он допоздна, до тех пор, пока огромное холодное здание, с запутанной паутиной бесконечных коридоров, сложной конспиративной системой внутренних лестниц, переходов, лифтов, с фальшиво-дружелюбными оазисами вестибюлей, отделанных гранитом и украшенных массивными люстрами, кожаными креслами, бронзовыми светильниками, – пока это здание не вымирало, заполняясь призрачным синеватым дымком, туманным отсветом старинных мрачных замков, узилищ, келий. В эти ставшие привычными вечера не было сил и желания встать из-за стола, освещенного и согретого теплым светом казенной лампы с зеленым пластмассовым плафоном, можно было бесконечно сидеть, бессмысленно перелистывая и перебирая бумаги, теряющие по окончании рабочего дня свою значимость, силу и притягательность. Особенно он не любил выходные дни, ибо находиться в своей маленькой однокомнатной квартирке, тупо глядя на мутноватый экран телевизора или шаркая стоптанными шлепанцами, бесцельно курсировать между комнатой и кухонькой, было невыносимо тоскливо. Телевизор он откровенно не любил. Вся эта крикливая, вульгарная и бездарная эстрада его бесила, тем более что он по долгу службы иногда просматривал записи американских, английских или французских развлекательных передач, восхищаясь их профессионализмом, естественностью, обаянием и хорошим вкусом, – контраст с отечественным «продуктом» был разительный. Новостные или аналитические программы были ему откровенно не интересны, он прекрасно знал цену их информированности и достоверности, по той же причине он не смотрел расплодившиеся фильмы и ставшие чрезвычайно популярными телесериалы про чекистов, разведчиков, шпионов или «доблестную милицию» – это было просто смешно… Выписывая по привычке телепрограмму, он подчеркивал лишь «В мире животных», «Клуб кинопутешествий» и «Кинопанораму» – и то, если ее вел Каплер.

Что действительно любил, так это читать. Лучшими часами его жизни, после того как он похоронил свою Тамару, а похоронил он ее давно, в последний блокадный год, когда думалось, всё самое страшное уже позади, – так вот, лучшими часами были часы, когда он ложился на продавленный диван, закрывался старым, вкусно пахнущим прошлой жизнью халатом, ставил рядом на стул чашку с остывающим чаем или, редко, полстакана коньяка – обязательно французского, – подкладывал под голову и под спину большие пуховые подушки, зажигал старинный торшер с кружевным чугунным, частично поврежденным литьем и темно-коричневым, по краям обтрепанным и выгоревшим абажуром и раскрывал книгу. Интересы его были разнообразны, но были и настольные книги, с которыми он никогда не расставался.

Его главной книгой было «Преступление и наказание». Уже само название завораживало, каждый раз вовлекая в новое прочтение, осмысление, размышление. Раз за разом Владимир Сократович спотыкался и надолго останавливался на том месте, где Раскольников ***после этого*** падает ничком на кровать – как есть в одежде – и так остается лежать. И ничего ему не нужно, и ничего он не хочет, да и не может… Что бы ни было в дальнейшем, он кончен. А что, собственно, произошло? – Убил гаденькую старушенцию – туда ей и дорога. В принципе он сделал то, что делал и делает он – полковник Кострюшкин – и его коллеги: они очищают мир от скверны. Да, это – грязная работа, да, собственноручно убить человека, как бы он ни был омерзителен, не каждый сможет. Убивать человека страшно, видеть его уже мертвенно-бледное лицо или даже – чаще – напряженный покрытый каплями пота затылок, конечно, «и врагу не пожелаешь». Впрочем, он – Владимир Сократович – никогда никого собственноручно не убивал, если не считать военные годы. Но тогда была война, и перед ним был враг… Всегда ли враг?.. Тот безусый белобрысенький лейтенантик, протягивающий к нему руки… Нет, об

этом лучше не вспоминать. Иногда во сне он видел его лицо и потом – себя, закрывшегося с головой одеялом… И было ему стыдно за свои слезы, с другой же стороны, он понимал, что переделать себя тогда он не мог. Не мог и сейчас… Хотя старался… И всё же он ощущал в себе частичку Раскольникова, и это делало его «белой вороной» среди сослуживцев. Они этого не замечали, но он чувствовал. Представить плачущим под одеялом того давешнего прыщавого вонючего Шишкина, как, впрочем, любого из его нынешних коллег – людей интеллигентных, чисто выбритых, деликатно пользующихся дорогим французским parfum?.. Бред какой-то… Кострюшкин часто ловил себя на мысли, что это какая-то особая порода людей. Новых людей. Хороших, честных людей, профессионалов, преданных своему делу, которые абсолютно естественно с улыбками и шутками поспешают после рабочего дня к своим женам и детям, покупая по пути домой новую игрушку для ребенка или забегая в «Елисеевский» за чем-нибудь вкусненьким к ужину. Он так не мог. Не только потому, что дома его никто не ждал. Не мог он встать из-за стола, до ночи оставаясь в пустынном здании, бесцельно перекладывая бумаги, еще и еще раз прокручивая прошедший день, не мог, потому что не было рядом кровати, на которую он бы бросился, как был – в одежде – и где бы оставался в неподвижности, а ежели бы и была, то всё равно он не сделал бы этого – он уже перерос своего так болезненно любимого героя, перерос, но не пророс окончательно в новый мир. Не мог он, как все, и вместе со всеми по окончании какого-то «Дела» пойти, скажем, в кино и от души смеяться над приключениями этого придурка Питкина в тылу врага или слушать смачные анекдоты Асламазяна. Каждый раз что-то отмирало в его сознании, по маленькому кусочку отваливалось, и ранки эти уже не зарастали… Долгое время он пытался «лечить» себя, выдавливая нравственные атавистические признаки ушедшей эпохи, пытаясь самостоятельно ампутировать таинственный, невидимый, но ощутимый рудиментарный орган, заставлявший его когда-то плакать после первого боевого крещения в заградотряде, а ныне сидеть в неподвижности перед гипнотизирующим желтым пятном на кожаном покрытии большого казенного стола.

Однако после знакомства с Александром Николаевичем и долгих неформальных бесед с ним, привязавшись к нему, испытывая возрастающую и абсолютно неуместную в данной ситуации симпатию, но, сделав то, что он должен был сделать и с ним, и с его женой, то есть не только выполнив свои должностные инструкции, но и, как бы это глупо не звучало, свой Долг, Владимир Сократович понял, что нравственный аппендикс, с которым он ранее безуспешно боролся, есть необходимый в его Служении компонент. Именно наличие оного, борение с ним, преодоление его отличает подлинного Магистра Великого Ордена от лощеных марионеток, бездушных садистов и тупых исполнителей, без которых его Служение, естественно, немыслимо, но время которых прошло. Будущее – за такими, как он – полковник Кострюшкин, только молодыми, умелыми, энергичными. И Совестливыми.

*** * ***

УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
Пятое Управление.
Аналитический отдел
Дело №…/… «**Лингвиста**».
Совершенно секретно.
В одном экземпляре.

…2. Далее докладываю. На реплику «**Морозовой**», что «среди величайших еврейских имен чуть не половина – либо антисемиты, либо люди, пропитанные юдофобством», «Лингвист» отвечал, что это действительно так

– начиная с апостола Павла, который «своей братской любовью к еврейству не смог перекрыть агрессии, заложенной в его полемике и проросшей в веках махровым цветом ненависти» (это высказывание я смог записать непосредственно). Однако стопроцентный представитель, как выразился «Лингвист» так наз. «социалистического антисемитизма» это якобы – Карл Маркс, который, как и Пьер Прудон или Бауэр, «испил мутной водицы из грязного антисемитского источника – из Туссенелевского труда «Евреи – короли эпохи» (цитирую точно). При прошлой встрече (в присутствии «Морозовой», а также гостей из Москвы – писателя К-кого и неработающего З-ва) в конце марта с.г. «**Л**», сравнивая К Маркса и Ницше в их отношении к еврейскому вопросу, утверждал, что оба они, как и «любой другой интеллектуал-антисемит, ужаснулись бы, видя претворение своих эстетских построений в реальной жизни». «**Лингвист**» также говорил, что, создавая своего «Антихристианина» или «Заратустру», он (**Ницше. – «Л.»**) и в страшном своем болезненном воображении не мог представить крематории Освенцима и Бабий Яр. Так же, как и Маркс. И далее: «Этот “Карла Марла – борода” свихнулся бы от ужаса, узнав о практическом претворении своих теорий, когда победивший гегемон со товарищи выкалывал глаза барским скакунам, ощипывал живых барских павлинов и справлял нужду в уникальные вазы Эрмитажа». На это неработающий З-в добавил, что «не только: этот гегемон со товарищи еще и уничтожил несколько десятков миллионов своих же сограждан. За просто так. И по сей день восхищаются этой забавой, радуются, восхваляя главного кровавого клоуна» – т. е. тов. Сталина. Далее, в том давешнем разговоре конца марта, разговор вертелся вокруг К. Маркса, его еврейского происхождения и его, по выражению «**Лингвиста**», раввинистской, то есть книжной, оторванной от жизни методологии, с одной стороны, и антисемитизмом, с другой. По поводу «оторванности от жизни» «**Морозова**», смеясь, добавила, что Маркс, кстати, и живого пролетария в жизни толком не видел – Энгельс всё зазывал его к себе на фабрику посмотреть, но наш основоположник так и не собрался. В последний раз, кстати, «**Л**.» говорил об отношении Маркса к Лассалю, которого обзывал «сальным евреем», и к польским евреям – «самой грязной расе», но я подробностей не помню. Еще был разговор, что марксова политическая и финансовая теория явилась «конечным продуктом» его теоретического антисемитизма, но здесь все говорили вместе, перебивая друг друга, и я не смог точно запомнить, кто что говорил. И еще, уже в конце, когда все, кроме «**Морозовой**», сильно выпили, говорили об отношениях Маркса с поэтом Гейне, который тоже был, по их мнению, антисемит и влиял на Маркса, что, мол, слова Гейне: «религия есть духовный опиум» Маркс растиражировал, как «опиум для народа». Но, по мнению «**Лингвиста**», Маркс не знал сомнений и колебаний Гейне. Сравнивали слова Гейне о том, что евреи будут тогда свободны, когда будут свободны христиане, что эмансипация евреев – это эмансипация немцев – и слова Маркса, который якобы писал, что эмансипация евреев – это эмансипация человечества от еврейства, а также – призрачная национальность еврея – национальность торгаша, денежного мешка, торговца. Помимо этого зашел спор о Гейне и его дружбе с Марксом. По этому поводу «Л.» заметил, что, при всей их (Гейне и Маркса) близости, немецкий поэт не разделял многие политические взгляды последнего и, в частности, говорил такие слова: «Я очень боюсь жестокости пролетариата и признаюсь, из-за

этого страха стал консерватором». На что «Морозова» сказала: «браво!». Потом говорили о Сен-Симоне и французских «прогрессистах», и опять «**Л**.» привел слова Гейне: «социалистическое будущее пахнет кнутом, кровью, безбожием и обильными побоями… я не могу без ужаса думать о том времени, когда к власти придут эти темные иконоборцы… вроде моего упрямого друга Маркса». И опять «**М**.» зааплодировала. Возвращаясь к еврейскому вопросу, писатель из Москвы вспомнил, что Маркс писал: основной асоциальный элемент нашего времени в иудаизме; евреи усердно вносили свой жуткий вклад в историческое развитие и этот процесс доведен до современного вредоносного уровня, далее – распад; цитирую не дословно, но по смыслу. «**Лингвист**» поправил писателя, сказав, что тот цитирует ранние работы Карла Маркса, в частности, его статью «К еврейскому вопросу», но потом Маркс слово «евреи» заменил на «буржуа», но тут же добавил, что даже в «Капитале» есть такой «пассаж»: за любым **товаром**, как бы он жалко не выглядел и отвратно не вонял, – стоит необрезанный еврей! «**Морозова**» пошла искать «Капитал», чтобы проверить – я уже докладывал, у «**Лингвиста**» огромная библиотека, я же ушел, чтобы подробнее записать разговор на интересующую Вас тему.

«Лесник»

Донесение подшито к Делу №…/… ***«Лингвиста».***

Ст. лейтенант Селезнев.

*** * ***

Мысли у Абраши были действительно странные. То есть сначала он думал об Алене, и мысли эти были скорее грустные. Он искоса посматривал на нее, на прядь волос, на прижатые к подбородку руки, стиснувшие край одеяла, прислушивался к ее ровному, почти неслышному дыханию и понимал, что теряет, возможно, самое дорогое в своей второй жизни. Впервые за последние девять с лишним лет Абраша всерьез задумывался, а почему бы ему не жениться.

Потом он увидел занесенную снегом избушку, одиноко темнеющую в бескрайнем снежном пространстве. Ему всегда очень хотелось оказаться в таком маленьком изолированном мирке, в хорошо натопленной, чуть угарной избе посреди холодного безлюдного мира. Часто, засыпая, представлял он, как усталый, замерзший возвращается в это свое убежище, стряхивает снег, облепивший его бороду – в этот момент он всегда представлял себя с густой бородой, которую в реальной жизни никогда не носил, – снимает тулуп, валенки, вносит охапку дров из предбанника, растапливает печь в доме, а затем в баньке, протирает влажной тряпкой дощатый, грубо сколоченный стол, вынимает из погреба квашеную капусту, соленые огурцы, грибы, открывает банку тушенки, вываливает ее содержимое в кастрюлю и вместе с отварной картошкой ставит на печь. Бутыль с самогоном он вынет позже, после парилки, чтобы не потеряла она свою морозную прелесть. Изба прогревается… А за окном метет, завывает, темень.

Сейчас же в углу, за печкой, на кадке кто-то сидел. Лица ее Абраша не видел, но он знал, кто это.

– Ты бы одобрила?

– Конечно. Давно пора. Засиделся.

– А как она?

– Блеск. Лучше не найти.

– Ревновать не будешь?

– У нас здесь не ревнуют.

– А вы?

– Сыночек, твой выбор – наш выбор.

– Она вам нравится?

– Она же тебе нравится.

– Нет. Я ее люблю.

– Конечно. И мы ее полюбим.

Абраша понимал, что голоса эти не могут звучать, их не было и не могло быть, потому что и его жена, и его родители уже давно умерли. Но он, услышав их, не удивился. Более того, он ждал их.

Абраша умиротворенно подумал, что он же спит, и это ему снится, и хорошо бы не просыпаться, но это невозможно… Он не был до конца уверен, что это сон, и для верности попытался открыть глаза. Глаза у него открылись, но голоса не исчезли. Значит, проснулся во сне, такое бывает, – обрадовался он и продолжил такой важный для него разговор.

– Она будет ждать тебя, встречать после твоих дежурств в этой занюханной сельской больнице. Ты по-прежнему там медбратом?

– Да, мам. На полставки.

– Ну, как ты можешь! С твоим-то образованием, с красным дипломом, аспирантурой, диссертацией.

– Оставь его, слышишь, оставь. Он уже большой мальчик.

«Папа всегда меня защищает», – улыбнулся Абраша и тут же сообразил: разве во сне улыбаются!? – Значит, он просыпается. И действительно, еще одно усилие и глаза открылись. Оказалось, что он проснулся в своей детской кроватке. Комната была заполнена призрачным светло-розовым воздухом, который рассекал ярко-желтый солнечный луч, высвечивая плотную смесь мельчайших пылинок. Интересно, пылинки ведь тоже имеют какой-то вес, пусть малипусенький, но вес, однако они не опускаются, а неподвижно зависают в воздухе. Странно… Потом он подумал, что во сне нельзя так ясно мыслить. А что есть сон, что – явь? Может, когда он спит, это и есть настоящая жизнь? Высокий, знакомый до мельчайшей трещинки потолок, окаймленный причудливой лепниной – верный спутник его детства – казалось, опустился ниже, бережно прикрывая его. Всё стало на свои места: раз он в детской кроватке, значит – еще маленький, поэтому голоса мамы и папы действительно могут звучать… В дальнем правом углу потолка причудливая комбинация орнамента лепнины, пыли, теней и трещин образовала странное лицо – в детстве Абраша боялся этой незнакомой физиономии, внимательно смотревшей на него своим одним глубоким темным глазом. Сейчас же он не испугался, а даже обрадовался, как старому знакомому. «Ну, вот, опять ты со мной». Его «приятель» изменился: у него появился второй глаз – потолок был высокий и пыль там не протиралась, наверное, со времен блокады. Это же Цицерон – радостно догадался Абраша, – пусть слушает, коль охота… Цицерона он никогда ни во сне, ни наяву не встречал, но решил – Цицерон. Может, непропорционально большой мясистый нос, нарочито широкий у основания, свисавший над короткой надменно опущенной книзу верхней губой – типичный латинский анфас, спровоцировал это решение, а может, дело было в том, что Цицерон был одним из постоянных участников интеллектуальных баталий, разыгрывавшихся в воспаленном ночном сознании Абраши.

– И у вас, может, все-таки появятся дети…

– Да, мы бы хорошо жили… если бы жили… с ней легко, спокойно. А если бы с ребенком не получилось, мы бы взяли собаку – большую бездомную дворнягу…

– Правильно!

– И она бы сияла от свалившегося на ее голову счастья.

– Ты прав, родной, собака – самый преданный друг, она никогда не позволила бы случиться…

– Не надо об этом.

– А если родится мальчик…

– Или девочка…

– Ты кого хочешь?

– Я жить хочу.

Что-то зеленое, похожее на гигантский мыльный пузырь… или не пузырь, скорее, на медузу, стало вырастать из-под пола, неудержимо заполнять комнату, подбираться к нему, поглощая ножки кровати, стало трудно дышать, вернее, Абраша не смог вдохнуть воздух, как будто он был под водой или в комнате, из которой каким-то образом – каким? – выкачали воздух, стало жутко, он вскрикнул во весь голос, но беззвучно, как в вату, покрылся холодным пóтом и открыл глаза.

Алена глубоко вздохнула и перевернулась на другой бок. Впрочем, если с ребеночком и получится, собаку нужно в любом случае взять в дом… И все-таки странно – мысли Абраши сделали нелепый разворот, – странно: тысячелетиями законы – традиции не нарушались ни на йоту. И в одну ночь – сразу все. Причем, странности начались раньше. Еще с изгнания менял из Храма. Кстати, откуда это – «ни на йоту»? «Йота» – буква греческого алфавита – «**ι**». Откуда это выражение – «ни на «**ι**»? Да черт с ним… Почему, почему они всё нарушили, в первый и в последний раз за тысячелетия? Именно тогда…

Цицерон не исчез, он только переместился и присел на край кровати. Алена даже не заметила. Поразительно, всё же, не сплю, вот Алена рядом посапывает… А этот старый мудак-краснобай тут как тут. Но и на сей раз Абраша не очень-то удивился. Он понял, что не спит, а находится в том, хорошо ему знакомом, состоянии между сном и бодрствованием, когда исчезают галлюцинации сна, но и реалии суетного быта не мешают спокойно мыслить, как бы беседуя с самим собой. «Ну а теперь у меня и собеседник появился»…

– Здорово, старый антисемит.

– Quousque tandem! (До каких пор!)

– Ну, прости, прости, хотя ты действительно антисемит! На суде доказано!

– Concretus!

Конкретно базар устроили. Наутро Абраша попытался вспомнить свои речи, но не смог. Однако во сне сам удивлялся, какой он умный, и какая у него латынь – наяву он знал лишь пару слов. Он припомнил этому Цицерону и про инвективы в процессе Флакка, за что краснобая выгнали из Рима, и его антииудейские выпады типа «евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе, евреи рождены для рабского состояния». Марк Тулий в долгу не остался: «Testimonium paupertatis! Хватит пить из гнилых источников – на вашем варварском языке нет ни одного перевода моих речей в защиту Флакка! Посмотрите немецкие или английские переводы, глупец! Вы переводите *TURBA*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.